ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЮНОСТЬ



Привет героическим строителям Севсиба!

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР

ТЕЛЕГРАММА

Бл. № 10

ИЗ ТЮМЕНИ

Адрес,
МОСКВА К-6
УЛИЦА ГОРЬКОГО № 32/1
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА"ЮНОСТЬ"

УЛОЖЕНЫ ПОСЛЕДНИЕ РЕЛЬСЫ НА ГИГАНТСКОМ ДВУХКИЛОМЕТРОВОМ МОСТУ, СОЕДИНИВШЕМ БЕРЕГА БОЛЬШОЙ ОБИ.
КОГДА ЧИТАТЕЛИ ПОЛУЧАТ ЭТОТ НОМЕР, ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ПРИДЕТ ИЗ ТЮМЕНИ В СТОЛИЦУ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ-СУРГУТ.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ПУНКТ "ЮНОСТИ"

Журнал основан в 1955 году

8 (243) АВГУСТ 1975

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

Василий
АФОНИН



В ДЕРЕВНЕ ЮРГА

РАССКАЗЫ

Рисунки М. ЛИСОГОРСКОГО.



«Сентиментальный вальс» Чайковского

Шел урок арифметики, и повторяли таблицу умножения — шестой столбец. В классе стояла тишина, все ожидали, кого же вызовут первого.

— Шестью шесть? — спросила учительница, расхаживая возле доски, и посмотрела поверх голов.

Кое-кто поднял руку.

— Шестью шесть? — повторила учительница, поворачиваясь от окна к двери.

Я пригнулся за спиной Тимки-Муравья, но разве за Тимкой спрячешься.

— Надеждин! — назвала учительница мою фамилию и села к столу, кутая руки в концах наброшенного на плечи платка.

Я вскочил, хлопнув крышкой парты.

«Шестью восемь — сорок восемь, трижды семь — двадцать один,— проносились в голове цифры.— Шестью шесть, шестью шесть...»

— Тридцать два! — подсказал сзади спекулянт и ябеда Плошкин.

— Тридцать два, Валерия Григорьевна! — выпалил я.

Девочки засмеялись.

— Плохо, Надеждин,— качнула головой учительница и сделала в журнале какую-то отметку — может, поставила двойку.

— Я повторял, Валерия Григорьевна,— забормотал я.— Я все повторил, а на «шесть» забыл. Я думал, на «шесть» не задавали!

— Садись,— еще раз кивнула учительница.— Тося, сколько будет шестью шесть? — спросила она мальчика с первой парты.

Толстый, в круглых очках Тося, встав, одернул серую курточку с зелеными заплатами на локтях и дал правильный ответ.

Все облегченно вздохнули.

— Хорошо, Тося,— похвалила учительница.— А теперь запишите домашнее задание.

После звонка я тут же кинулся ловить Плошкина, чтобы как следует треснуть его. Так и есть, Плошкин в углу коридора успел выменять на два перышка кусок брюквы у малыша из второго класса. Плошкин ловко играл в перышки, а выигранные обменивал на еду. За это его и прозвали спекулянтом.

— Спекулянт! — на ходу закричал я.— Что же ты...

Малыш, зажав в руке перышки, убежал.

— На, — протянул мне Плошкин брюкву,— а хочешь, я тебе «синичку» дам?

— Врешь! — не поверил я.— У тебя нет ее!

— Ей-богу, есть.— Плошкин полез в карман, где лежало все его богатство: перышки, солдатские пуговицы, обломок красного карандаша, кусок цепочки от стенных часов.

«Синичка» — перышко, которое хотел иметь каждый. Обычно мы писали пером с цифрой восемьдесят шесть, оно царапало тетрадь, скрипело, оставляло кляксы. А «синичка» шла гладко. Сунув брюкву в карман, я принял на ладонь новенькую «синичку», полюбовался, спрятал и пошел разыскивать Тоську Горяева, с которым собирался поговорить. В классе его не оказалось, и я выскочил из школы. На улице держалась теплынь, было много солнца, пахло талым снегом. На берегу Валерия Григорьевна, которую за спиной звали Валерой, играла с первоклассниками в снежки. Возле поленницы на солнечной стороне, где снег подтаял лучше, образовалась маленькая лужа, и в этой луже купался воробей. Зайдя по колено в воду, подняв торчком хвост, воробей касался грудкой воды и всплескивал расправленными крылышками. А возле крыльца, в расстегнутом пальтишке, зажав под мышкой учебники, стоял, улыбаясь, Тоська.

— Видал? — кивнул на воробья.— Купается, не боится простудиться.

Воробей взлетел на поленницу и чирикал, отряхиваясь.

Тоська посмотрел на мое лицо и опустил голову.

— Хочешь, ударь меня,— тихо предложил он.

— Ты что, Тоська? — удивился я.— За что же я тебя бить стану, ведь ты не враг мне.

— За то, что я ответ сказал на уроке.

— Ну так что же, что сказал? Ведь ты не выскочка, учительница сама тебя вызвала отвечать. Если бы ты был выскочкой, как Зойка Лопахина, тогда другое дело.

— Значит, ты не сердишься на меня? — сказал Тоська и засмеялся. Он был самым толстым в нашем классе, вялым и неповоротливым. Идет-идет да и запнется за что-либо. Видел он плоховато.

— Хочешь брюкву, Тоська? — достал я кусок из кармана, попытался разломить, но не смог.— Кусай первый,— протянул Тоське. Стесняясь, он откусил немного.

— Кусай еще,— предложил я, откусил сам, и мы медленно пошли по переулку, обходя первые лужи и поочередно кусая брюкву.

Было нам без малого по двенадцати лет, стоял апрель сорок седьмого года.

— Тоська,— спросил я, когда мы остановились возле его дома.— Ты что будешь сегодня делать? Ты, как уроки подготовишь, приходи ко мне, станем скворечню ладить. Я уже доску припас, гвозди. Вот-вот скворцы прилетят, а у меня скворечня не готова. А старую тебе отдам, она крепкая, только нужно почистить внутри.

— Я не смогу,—отказался Тоська.—Мама болеет...

— А чего она у тебя болеет так часто? — спросил я.— Зимой болела и раньше.

— У нее почки болят,— объяснил Тоська.— У нее камни в почках.

— Что ты говоришь? — удивился я.— Какие почки? И как камни могут в них попасть?

— Не знаю,— сказал Тоська.— Так врачи говорят. Они давно говорили, когда мы еще не жили здесь.

Откуда мне было знать тогда, что есть у человека почки, а в них могут быть камни? Почки росли на деревьях, а камни? Вон кусок кирпича — камень.

— Хочешь, я сам к тебе приду? Принесу все и вместе сделаем?

— Приходи,— согласился Тоська и заторопился в избу, к матери.

Новую скворечню я делал дома. Ровно распилить доску и пробурить леток помог старший брат. А у старой я осторожно снял крышку, перевернул, ударил легонько по дну молотком и вытряхнул несколько воробьиных гнезд. Почистил еще рукой, накрыл крышу, а щели законопатил паклей. Скворечню понес Тоське. Вот он обрадовался! Мы сняли с городьбы длинную сухую жердь, прикрепили скворечню к тонкому концу и подняли ее над крышей, повернув на восход. Тоська несколько раз отходил в сторону и, подняв голову, любовался.

— Ты приходи ко мне,— попросил он, когда я собрался домой.— Вот мамка выздоровеет, и тогда можно будет гулять. Вместе уроки станем готовить.

Я обещал приходить.

— Сень-ка! — закричал через улицу Тоська.— Вечером репетиция!

— Знаю! — откликнулся я. А сам и забыл совсем, что сегодня репетиция.

После ужина я пошел в школу. Подморозило немножко, и обезвоженный снежок похрупывал под моими подшитыми брезентом пимами. Талые, с набухающими почками тополя раскачивал ветер. В сумерках деревня меняется, избы вроде бы расплываются чуть, приседают и темнеют мягкими скирдами. Через оттаявшие по теплу оконные стекла проступали желтыми пятнами огоньки коптилок, семилинейных ламп. На репетиции мне особо делать нечего было: стихотворение, которое я должен был читать на концерте, давно выучено — я шел, чтобы послушать, как Тоська играет на скрипке.

Школа стоит на левом высоком берегу Шегарки, речка в этом месте делает плавный поворот и уходит на север. Ни в одной из деревень, которые рядом, нет такой школы, как у нас в Юрге. Когда-то в Юрге жил удачливый охотник. Разбогатев от продажи шкур, он срубил этот дом, бросил охоту и занялся торговлей. Дом двухэтажный, верхний этаж занимала семья, а на нижнем, окна которого были зарешечены, помещались магазин и склад. Мужик-торговец со временем умер, сыновья разъехались, а дом с той поры определили под школу.

Занятия велись на верхнем этаже, состоящем из четырех комнат. Школа наша начальная — каждому классу отводилась отдельная комната. А внизу хранились сухие дрова, стояли старые парты, ведра с известью для побелки, школьные лыжи.

Когда я поднялся наверх, все артисты уже собрались. В комнате первоклассников, где обычно проходила репетиция, горела висячая лампа. Концерт решили поставить ко Дню Победы, репетиции начались сразу же после Нового года, собирались раз в неделю. Руководила Валерия Григорьевна.

Главный номер программы— песня «Вставай, страна огромная». На сцене полукругом становились девочки, за их спинами — ребята. Хор должен исполнять песню, а Тоська Горяев и Генка Воропаев — подыгрывать им: Генка на гармошке, Тоська на скрипке.

И все было хорошо — хористы выучили слова и пели со старанием, отдельно Тоська и Генка вели мелодии, не сбиваясь, но вместе у них не получалось.

— Сыграться не могли,— говорила Валерия Григорьевна.

Можно было просто спеть песню, да и все, но учительница настаивала на музыкальном сопровождении. Сначала должен идти проигрыш, потом девочки начинали «Вставай, страна огромная», и, когда доходили до слов «Пусть ярость благородная», вступали ребята. Когда пели эту песню, у меня всегда возникал в груди холодок и начинали дрожать колени.

Уже хор стоял на сцене, Генка с Тоськой на табуретках сидели впереди.

— Раз-два,— учительница взмахнула руками.— Начали!

—«Вста-а-ва-а-ай, стра-на огро-о-ом-на-ая»,— запели девочки.

На этот раз у музыкантов получилось, и песню допели до конца.

— Мне песню сыграть — раз плюнуть,— горячился Генка.— Я бабам на гулянках подыгрывал. У Тоськи не выходит. Сядет рядом и начнет скрипеть под ухом смыкалкой своей. Смычком, значит.

Кроме песни и других мелких номеров, Валерия Григорьевна задумала еще «Литературную композицию». По композиции этой на сцене должно стоять шестнадцать мальчиков и девочек, каждый из участников должен представлять какую-либо республику, входящую в СССР. В полуподнятых руках участники композиции держат флажки с названием республики: Украина, Литва, Молдавия... Поочередно каждый делает шаг вперед и произносит: «Я — сын трудового народа Казахстана», «Я — сын трудового народа Белоруссии» и другие слова.

Из-за этой композиции я и подрался с Генкой Воропаевым, нашим гармонистом.

Стали разбирать республики, я выбрал Эстонию. А Генка опоздал, и ему досталась Киргизия. Киргизию Генка брать не хотел, хотел Эстонию. Оказывается, он еще вчера выбрал ее, да забыл сказать. Ему предлагали поменяться на Армению или Латвию, но Генка уперся— дай ему Эстонию, и все. Я стал было уверять, что ему только и представлять республику Киргизию — ростом он невысокий, лицо круглое, волосы черные. А мне — Эстонию, я выше его и волосом бел. Девчонки сажей подвели Генке глаза, и он стал здорово смахивать на киргиза, но Генка размазал сажу и заорал, что если ему не дадут Эстонию, он не станет играть на гармошке. Тут мы с ним и сцепились. Из композиции меня удалили. Ну и пусть! Если уж честно сказать, то подрался я с Воропаевым вовсе не из-за роли, а из-за Тоськи. Пусть он перед Тоськой не воображает. Подумаешь, гармошка! В деревне каждый с шести лет на гармошке шпарит, а ты сумей на скрипке.

А композиция у них все одно не получалась. Не из-за меня, конечно. Из-за костюмов. Все участники должны были выходить в национальных костюмах, как на картинке в журнале, а где их возьмешь, костюмы. Кто в чем ходил в школу, в том и выступал. Вместо композиции решили разыграть пьесу о партизанах. В пьесе мне тоже не разрешили участвовать из-за Воропаева.

Сцену уставили срубленными ветками— они изображали березняк. По березняку, пригнувшись, цепочкой шли три немецких солдата в поисках партизан. А в другом конце сцены, за пнем — широким осиновым чурбаком,— лежал партизан Ленька Ушаков и целился в немцев из старой дедовой одностволки. С криком «Партизаны не сдаются!», с ружьем наперевес, Ленька выскакивал из-за пня. Увидев Леньку, передний немец-офицер удивленно восклицал: «О-о дер партизанер!» — и вскидывал руки. Подымали руки и остальные немцы. Подталкивая в спину ружейным стволом, Ленька забирал их в плен.

Это была отличная пьеса, и всем хотелось играть в ней. Но роль партизана Ленька Ушаков не уступал никому. На репетиции он приходил в хлябающих кирзовых сапогах брата-фронтовика, хотя партизану больше подходили валенки, армейские же штаны стягивал ремнем под мышками, надевал драную шубу и лохматую баранью шапку. К шапке Ленька пришил лоскут красной материи; где-то он вычитал, что партизаны делали так. А к генеральной репетиции собирался сделать бороду из кудели. Огорчало Леньку то, что ему не разрешали выстрелить по немцам, хотя бы холостым патроном. На каждой репетиции он упрашивал учительницу позволить ему разок жахнуть по врагам, а когда они перепугаются, тут их и нужно брать в плен. После таких разговоров Пашка Лазарев— немецкий офицер,— двигаясь по березняку, неуверенно переставлял ноги и все косился на пень, боясь, как бы Ленька на самом деле не саданул из дробовика. Валерия Григорьевна тут же внушила Ушакову, что если он хоть раз действительно жахнет, то не видать ему больше школы и всего света белого. На всякий случай, она каждый раз проверяла ружье, не засунул ли туда Ушаков украдкой патрон.

После пьесы девчонки опять пели группой и поодиночке, Зойка Лопахина с Томкой Важиной, взявшись за руки, подбрасывая коленки, танцевали под гармонь «Светит месяц», причем Зойка шмыгала носом и лупала своими совиными глазами— посмотрите, дескать, как здорово у меня выходит. И где-то между этими номерами я должен был читать стихи. Стихотворение называлось «Рассказ танкиста», и речь в нем шла о том, как во время войны наш парнишка разведал, где стоит немецкая пушка, а разузнав об этом, побежал и сообщил танкистам. И вот он едет с танкистами, ветер, пули свистят, а ему хоть бы что. Стоит парнишка на танке, а рубаха у него на спине пузырем от ветра. Я танк видел только на картинках, но умел скакать на конях; летишь на старом Беркуте по лесной дороге от сенокосов к деревне, в ушах ветер, а рубаха на спине так же надувается, как у того парнишки.

— Надеждин,— заглянув в листок бумаги, где у нее была расписана программа, позвала Валерия Григорьевна.—На сцену.

Я вышел на сцену. И только произнес первые две строки, как восклицанием «Руки!» — учительница остановила меня. Это означало, что я опять засунул руки в карманы, чего во время выступления делать, разумеется, никак нельзя. А куда их девать, я не знал. Опустить по швам, так они тянут вниз, заложить за спину — еще хуже. Я согнул руки в локтях, будто собирался бежать.

— Жестикулировать надо,— объясняла учительница. — Для пущей выразительности!

Попробуй, пожестикулируй, если тебя обрывают на каждой строке! Сама она, небось, не жестикулирует, когда объясняет уроки; засунет руки под мышки и греет их там.

Кое-как закончил стихотворение, после чего со сцены все убрали. Поставили на середину табурет, на него сел Тоська, положив скрипку на колени. Из-за него я и пришел сегодня на репетицию. Лампа висела над сценой (учительница прикрутила ее), теперь лампа освещала Тоську и часть сцены, а в классе, где расселись артисты, держался полумрак.

Тоська посидел немного, чтобы сосредоточиться — как он объяснил потом,— встал, отступил чуть в сторону и поднял к подбородку скрипку. Еще минуту стоял он, держа смычок в воздухе, потом мягко опустил на струны и плавно повел вниз.

Боже мой, что со мной стало тогда! Первый звук, чистый и печальный, пронзил меня. Это был сон, а может, сказка, которую я слушал давным-давно... Далекая лесная деревенька, звездная апрельская ночь с теплым ветром, темь, деревянный дом на высоком берегу, лампа под потолком и маленький мальчик со скрипкой, мальчик-волшебник, с волшебной палочкой в руках. Вот он повел палочкой по струнам, и звуки опять заполняют тебя, останавливают дыхание, расслабляют так, что не поднять головы, не пошевелить рукой.

Казалось, скрипач один стоит в большом пустом доме — так было тихо. Закутавшись в платок, Валерия Григорьевна сидела, откинувшись к стене, глаза ее были закрыты.

Я вздрагивал и стучал зубами. Я вышел на цыпочках в коридор и проплакал все время, пока Тоська играл. Никогда не было мне так сладко от слез. Я не пошел в класс, чтобы не видели моего лица, сошел вниз и стал ждать Тоську. Наверху шумели, кто-то искал свою шапку.

— Ты почему ушел? — спросил, выходя, Тоська, держа завязанную в платок скрипку под мышкой.— Тебе не понравилось, как я играл?

— Ты хорошо играл, Тоська,—сказал я.— Только у меня начался кашель, и я вышел, чтобы не помешать тебе. Хочешь, я понесу скрипку? Я не уроню ее, не бойся.

Он разрешил, я прижал обеими руками к себе скрипку, Тоська взялся за мой локоть, чтобы не упасть, и мы пошли по переулку от школы. Звезды кружились над нами, теплый ветер свистел в тополях, продолжая мелодию.

— Какую песню ты играл, Тоська? — спросил я.

— Это не песня,—пояснил он.—Это музыка Чайковского. «Сентиментальный вальс» называется.

Откуда мне было знать обо всем этом! Музыкой, слышанной раньше, были песни, которые в деревне исполняли под гармонь.

— Тоська, откуда у тебя эта скрипка? И как ты научился играть? Я хотел узнать у тебя сегодня, после занятий, да засмотрелся на воробья и забыл совсем.

— Это папина скрипка,— сказал он, останавливаясь возле своего дома.— Если хочешь, я тебе когда-нибудь расскажу о ней.

Увидел я скрипку в первый день репетиции; Валерия Григорьевна послала меня за Тоськой, он опаздывал. Когда я вошел, Тоська уже собирался, а его мать, маленькая седая женщина с мелко трясущимися руками и головой, бережно завязывала в платок продолговатый, никогда не виданный мною раньше предмет.

— Что это?—спросил я Тоську, указывая глазами.

— Скрипка,— пояснил он.— Музыкальный инструмент. Это футляр, а скрипка там, внутри.

— Тося, будь осторожен,— тихо попросила женщина, подавая узел.

— Хорошо, мама,— обещал Тоська, взял скрипку под мышку, и мы вышли.

В школе скрипку положили на стол, Тоська не отходил от нее. Если кто-либо приближался, чтобы потрогать пальцем футляр, Тоська бледнел и молча прижимал к груди руки. Тогда ему на помощь приходила Валерия Григорьевна.

...В концерте я не участвовал. За день до этого мы с Тимкой Муравьевым ходили в перелески искать сорочьи гнезда, разогревшись от лазанья по деревьям, пили воду из ручья. Тимка — ничего, а я простудился и охрип. В день концерта лежал я дома на горячей печи и пил чай, заваренный сушеной малиной. Концерт давали днем. Вернувшись из школы, мать сказала, что без меня было еще лучше, концерт удался, когда пели «Вставай, страна огромная», бабы плакали, и что Тоська шибко жалобно играл на скрипке.

А потом пришел и сам Тоська и принес кулек конфет. Оказывается, после концерта всем школьникам давали подарки — кульки с пряниками и конфетами,— и Тоська получил вместо меня.

Мать накормила его супом, он влез ко мне на печку, угрелся возле чувала и стал рассказывать, как проходил концерт.

— Тоська,— напомнил я.— Ты обещал рассказать о скрипке.

— Это папина скрипка,— помолчав, начал он.— Мой папа был скрипач и играл в театре. И мама играла там же. Мама играла лучше, чем папа. Она была первой скрипкой в театре.

— Как это — первой скрипкой?

— Она играла лучше всех,—пояснил Тоська,—а потом заболела и потеряла слух.

— Разве она не слышит?

— Она потеряла музыкальный слух. Мама сильно переживала и, чтоб не расстраиваться, глядя на скрипку, подарила ее своей младшей сестре. Папа продолжал играть, пока не началась война. Тогда он положил скрипку в футляр и пошел в ополчение.

— Твой папа солдат?— спросил я.

— Нет, папа — ополченец,— повторил Тоська, незнакомое мне слово.— Солдатам дают форму и оружие, солдаты воюют, а ополченцы помогают им — роют окопы и строят укрепления от врага. И тушат пожары от бомбежек.

— Тоська, отец у тебя такой же маленький и старый, как мать?

— Нет,— он ничуть не обиделся,— папа наш большой, а мама совсем не старая. Ей тридцать шесть лет всего. Она такая потому, что много пережила. У нее нервная болезнь, мы жили в блокадном городе.

— А что такое блокада? — опять перебил я.

Он все знал, мой новый товарищ Тоська Горяев. Он видел войну, а мы о ней только читали да слышали от вернувшихся фронтовиков.

— Блокада — это когда враги окружают город, взять его не могут и никого не выпускают оттуда, ждут, когда людям станет нечего есть и они сами сдадутся. А они не сдаются, они все равно воюют, хоть и голодные.

— А как же вы уехали из города?

— Мы уехали ночью, на машинах, папа тоже мог уехать с нами, но он не захотел. Он сказал, что никуда не поедет, останется защищать город, а мы должны уехать. А когда закончится война, папа нас найдет. Он отдал мне свою скрипку и просил, чтобы я сберег ее, а если его, папы, не станет в живых, то сохранил бы скрипку как память о нем. Вот уже пять лет, как мы здесь, война закончилась, а от папы нет никаких известий. Видно, он не может нас разыскать. Мама писала на наш адрес и соседям, но никто не ответил. Наверное, разбомбили дом.

Тоська с матерью приехали в Юргу в зиму второго года войны. Изба свободная оказалась, но селить их в эту промерзшую избу без полена дров, без малого хотя бы запаса картошки не было смысла. И тогда взял их к себе, на время как бы, бригадир — он ездил за ними в сельсовет. А потом соседка попросила приезжую побыть у нее сколько она сможет, присмотреть за ребятишками — сама хозяйка от темна до темна на работе. Так, пере-

ходя из семьи в семью, продержались они зиму в тепле, ели вместе с хозяевами, а весной, по суху уже, перебрались в намеченную для них избу. Наши видавшие виды, все понимавшие матери молчаливо помогали эвакуированной справиться с огородом, обмазали и побелили внутри стены избы. Бабы учили Тоськину мать — тетю Киру,— как перетерпеть трудные дни, а Тоська обвыкался с нами, деревенскими ребятишками, и многое перенял от нас. Он научился, не боясь обжечься, рвать для супа крапиву, находить по берегам ручьев сладкую траву дидлю и пучку, мастерить удочки и ловить в Шегарке чебаков. По весне, как только сходил снег и чуть прогревалась земля, мы уходили за деревню на колхозные картофельные поля, где до осени росла картошка, а теперь лежала темная, сухая ботва. Тяпками, а часто руками разрывали на второй раз лунки, выискивали оставшиеся на зиму картошки. Насобирав, снимали отставшую кожицу, толкли и прямо на плите пекли запашистые, удивительно вкусные лепешки.

Мы, деревенские ребятишки, в то время взрослели рано, к десяти годам многое умели делать, во многом понимали толк. Но Тоська, наш ровесник, в отличие от нас был разумнее. Он и держался совсем по-иному, и говорил рассудительно, как взрослый, больше прочел, больше видел. Его мать, тетя Кира, маленькая и слабосильная, как девочка-подросток, не могла выполнять тяжелые работы — убирать сено, хлеб, ухаживать за скотом. Ее и не назначали. Тогда бабы научили тетю Киру вязать носки-варежки, этим она и занималась. Чтобы не отрывать у себя на вязание время, бабы приносили ей нитки, делали заказы — семьи в деревнях большие. За работу тете Кире платили, чем могли: кто давал горсть соли, кто — пару яиц или бутылку молока. Кто-то отдал ей клубок белых ниток, тетя Кира связала себе шапочку и носила постоянно, даже в летние теплые дни за это прозвали ее в шутку Белой Шапочкой...

...После концерта я выздоровел, а тут скоро и учебный год закончился, мы с Тоськой перешли в пятый класс. Через некоторое время уехала на родину наша учительница Валерия Григорьевна. О том, что она из одного с Тоськой города, я долгое время не знал. Раньше Валерия Григорьевна преподавала в семилетке, в соседней деревне, а год назад перешла к нам, потому что наша старенькая учительница, которой давно надо было на пенсию, уже не могла работать. Мы сразу заметили, что к Тоське Горяеву новая учительница относится иначе, чем к нам. По имени она называла только Тоську да девочек, а всех мальчишек — по фамилиям. И еще мы заметили, что она никогда не смеялась. Но она совсем не была сердитой, Валерия Григорьевна. Жила при школе, и первоклассники всегда толкались там, пока учительница не отправляла их по домам готовить уроки. Она все возилась с малышами: то игру новую разучивает, то кружок организует. Высокая, черноволосая, она постоянно зябла и во время уроков прислонялась спиной к печи. Почти каждый день учительница заходила к Горяевым. Когда тетя Кира болела, учительница ухаживала за нею, топила печку, ходила к проруби по воду. Тоська часто играл ей на скрипке. Слушая, Валерия Григорьевна всегда откидывалась спиной и закрывала глаза. Узкое лицо ее становилось серым.

— Учительница родная вам? — спросил я Тоську.

— Из одного города с нами,— пояснил он.

Сразу же после окончания занятий мы с Тоськой взялись на пару пасти индивидуальных коров. За каждую голову, раз в месяц, хозяева платили нам, чем могли — молоком, картошкой, кто — рублями. Один раз я выгнал стадо без Тоськи, его долго не было, потом он пришел, грустный, сел на траву.

— Валерия Григорьевна уехала,— сказал он и вдруг заплакал.— Навсегда уехала, нас звала с собой.

— Что же вы остались? — спросил я, когда он успокоился.

— У нас нет денег на дорогу. Она разыщет папу, расскажет ему, где мы живем, и он пришлет денег.

Все лето мы пасли коров, отогрелись после зимы, отъелись. С весны питались травами, потом ягода подошла. Пекли картошку, если случалось, молока давали нам.

Один раз Тоська пригласил меня ужинать.

— Приходи, у нас сегодня зеленый борщ

Борщей в деревне не варили, да еще зеленых, и я пошел из любопытства скорее. Оказалось, что это всего-навсего суп из щавеля, посоленный, правда, и забеленный слегка. К супу дали картофельную лепешку.

В избе у Горяевых было чисто, стол застлан новым плакатом, взятым у почтальона, видимо. На плакате была нарисована щекастая деваха, держащая в обнимку сноп, внизу стояла надпись: «Труженики села, боритесь за досрочное выполнение пятилетки!»

Мы сели за стол.

— Тося, мягче жуй, мягче жуй,—уговаривала сына тетя Кира.— Желудок испортишь.

Подняв голову, я увидел, как, низко наклонясь над столом, трясущейся рукой несет она ко рту ложку щавелевого супа, поддерживая снизу картофельной лепешкой. Откусит лепешку и мелко-мелко, по-кроличьи, начинает жевать. А седые волосы, заложенные за уши, выпадают и ползут по щекам, мешая есть.

Я отвернулся и закусил язык, чтобы не закричать.

— Ты что, мальчик?—заметила тетя Кира.— Ты обжегся, мальчик? Не надо так скоро, не спеши.

Я стал дуть на суп, хоть он и не был горячим. Тоська, конечно, все понял. Он многое понимал.

Раза два-три я спрашивал у него:

— Что, от отца ничего не получали?

— Нет,—всякий раз неохотно отвечал он.

Тетя Кира все лето занималась заготовкой дров. Выгоняя стадо, мы брали с собой топор и по очереди рубили по ручьям хворост, связывая его лыком в маленькие, короткие вязанки. Эти вязанки тетя Кира носила из лесу домой. Зимой она попросит кого-нибудь привезти сырых дров, а хворост пойдет на растопку.

Один раз она шла по тропе, перекинув вязанку за спину, навстречу ей из кустов вышел Семка Чуев, собиравший смородину.

— Белая шапка — Белый колпак! — закричал он, увидев тетю Киру.

Лицо тети Киры стало жалким.

— Мальчик, ты нехорошо поступаешь! — сказала она, сходя с тропы, чтобы пропустить Семку.

— Белая шапка— Белый колпак! — еще противнее завопил четырнадцатилетний, бросивший школу балбес Семка, стал кривляться, показывая язык.

— Не смей так разговаривать с мамой!— закричал видевший все это Тоська.— Она ничего плохого тебе не сделала.

Мы кинулись к тете Кире. Заметив, что нас двое, Семка бросился в кусты. Тоська упал, потерял очки. Я вернулся и помог ему.

— Ничего,— успокаивал я Тоську.— Вечером мы перехватим его в переулке, зададим жару.

— Не надо его бить,— отряхиваясь, сказал Тоська.— Его надо воспитывать, тогда он поймет, что так делать нельзя.



— Как же, воспитаешь! — засмеялся я.— Его отец каждый день порет — а толку? Это он, Семка, залез в сарай к соседям вашим и спер яйца. А говорили на Леньку Ушакова.

Семкин отец, конюх Чуев, из-за хромоты не попал на фронт, и семья его не голодала так, как другие. Все знали, что он крадет от коней овес, Чуеха перемалывает овес на жерновах и варит кисель или похлебку. Семка, сынок его, был здоровее любого из нас. Мы, дети тех, кто не вернулся с войны или вернулся покалеченным, постоянно враждовали с Семкой...

...Осенью я пошел в пятый класс. Все, кто учился в семилетке, жили зиму в интернате, набирая с собой на неделю продуктов. А Тоська в школу не пошел: он не имел теплой одежды и, кроме картошки, ничего не мог брать с собой. Тетя Кира с холодами стала чаще болеть, и Тоська зиму просидел дома, ухаживая за матерью. Приходя домой на выходные, я всякий раз навещал его, приносил книжки из школьной библиотеки. Или он заходил ко мне.

Среди зимы я долго не видел Тоську, а на новогодних каникулах он сам навестил меня. И рассказал о полученном от Валерии Григорьевны письме. Она писала, что отец их умер от истощения.

— Что же вы теперь станете делать?— спросил я Тоську.

— Мама начала хлопотать,— ответил он. Он уже выплакался и говорил спокойно, только голос стал глуше.— Мама написала несколько писем, чтобы нам за папу выплатили деньги. Если не выплатят, то Валерия Григорьевна пришлет, и весной мы уедем.

Весной Тоська оживился.

— Уедем скоро,—говорил он.— В музыкальную школу поступлю, стану скрипачом.

— Скрипачом?

— Да! Мама говорит, что у меня способности, их надо развивать.

И тетя Кира часто говорила об отъезде.

— Надо ехать, надо ехать,—повторяла она.— Делами заниматься, Тосю музыке учить.

И огород не стали садить.

Деньги им действительно прислали. За отца или Валерия Григорьевна — не знаю.

Перед отъездом Тоська зашел попрощаться. Он подарил мне книжку «Робинзон Крузо», привезенную из Ленинграда, а я ему — складной ножик, который мне отдал отец, вернувшись с войны.

Назавтра они должны были уехать. Мы шли медленно по узкому переулку, крапива росла возле городьбы.

— Давай дадим клятву,—вдруг сказал Тоська, останавливаясь.

— Какую?— спросил я удивленно.

— Поклянемся, что никогда не забудем, как мы жили здесь, с тобой подружились, школу нашу. Клянешься?!—спросил он, подавая руку.

— Клянусь! — сказал я, волнуясь.

— И я клянусь! — повторил Тоська.

Уехали. В это лето коров я пас один.

Много времени прошло с той поры. Многое забылось. Но когда я слышу музыку Чайковского, неважно что, я всегда вспоминаю апрель сорок седьмого года, ночь, вечер, в талых тополях школу с висячей лампой и мальчика-скрипача.

Где он сейчас? Помнит ли наши клятвы?

Надя-Курилка

Никто из деревенских, кроме матери моей, так за все время и не узнал, за что она отбывала наказание и как попала к нам.

...Лет десять назад, мокрым сентябрьским днем, бригадир Еремеев ходил по деревне в поисках жилья для приезжей. Следом за ним шла и сама приезжая — молодая, смуглая и глазастая женщина в фуфайке, грубой юбке и резиновых сапогах, в темном платке, повязанном под подбородком. Шла она прямо и легко, успевая за рослым Еремеевым, держа в правой руке большую хозяйственную сумку; с левой стороны от нее, цепко схватясь за материну руку, оглядываясь по сторонам, торопился большеглазый парнишка лет десяти.

Ветер налетал из-за речки, нагоняя полосы мелкого дождя; длинный Еремеев с пустым левым рукавом, тоже в фуфайке и сапогах, отворачивал лицо, шепотом ругаясь на ходу. В кармане Еремеева лежала присланная из центральной усадьбы бумага, в которой были выведены фамилия, имя, отчество женщины и указано в отношении ее... определить с жильем и трудоустроить!

Эту бумагу — направление — Еремеев расценивал как очередную издевку над собой. Он давно себя считал обиженным. Бригада его была самая дальняя от центральной усадьбы хозяйства, и те бригадиры, что поближе, постоянно, по мнению Еремеева, толклись на глазах у начальства, выпрашивая то новую сбрую, то грабли конные. И, если случалось, приезжала семья какая на жительство — туда ж ее, в ближнюю деревню, а ему, Еремееву, что достанется. Пришлют, скажем, на уборочную шофера или комбайнера, то обязательно пьяницу. Шофер и не выпьет ни разу за время уборки, все одно Еремеев считает, что лучшие машины попали в ближайшие к усадьбе деревни.

Вот эту прислали... Определить с жильем! Написать, конечно, легко, а ты попробуй определи. Была в деревне избенка одна, так туда, прежде чем вселять кого, на неделю плотников посылать надо. А они заняты на ремонте скотных дворов, осень, скоро пастьбе конец. Шагая по грязи, Еремеев перебирал подряд избы, прикидывая, и отвергал одну за другой: то семья большая, то хозяева нелюдимые, а то и просто не захотят брать чужого человека. Не захотят — и все. Что ты ему, прикажешь?

Дело шло к вечеру.

— Ты хоть работать-то станешь? — спросил Еремеев женщину, останавливаясь, чтобы закурить.

— Стану, начальник, стану,— спокойно заверила та.— Как же, всю жизнь работала. Кто ж меня кормить будет?

— Что делать-то хоть умеешь? — Бригадир возился с табаком.

— Все умею, начальник.— Женщина повернулась на ветер спиной, тоже достала курить.— Детей рожать умею,— и, прикурив у Еремеева, подняла на него страшные глаза свои. Два железных зуба тускло поблескивали во рту ее.

— Чего доброго,— не стесняясь, плюнул под ноги Еремеев,— рожать вы мастера, только волю дай.

И пошел через мост в конец переулка к бабке Лукьяновне.

— Что ж мы, начальник, так и будем венчаться по деревне из конца в конец? — спросили сзади.— Дождь идет.

Еремеев не отвечал.

Все, кто в это ненастное время был на улице, видели, как трое ходят по деревне. Переговаривались.

— С кем это Ерема кружит битый час?

— На жительство прислали новенькую, гадает, где поселить.

— Откуда ее принесло?

— Из тюрьмы — откуда ж еще! Добрую не пришлют!

— И-и. Молодая, а уж отсидела. За что и судилась только?

— За убийство, за что же еще! Ты заметил, как глазами стригет? Разбойница! Мужа, поди, гробанула, а то хахаля!

— За это, говорят, расстрел!

— Не каждому.

— Парнишка с ней. Где ж парнишка-то был все это время?

— А нигде не был, там и родила, в заключении.

— Да ну-у... как там родишь, от кого то ись?

— Хо, от кого! Захочешь — родишь.

— Брось врать-то!

— По переулку пошли. К Лукьяновне, не иначе.

Еремеев вел приезжую к бабке Лукьяновне. Большая изба старухи была разделена пополам. Во второй половине, с отдельным входом, жила недавно бабкина племянница с мужем; племянница уехала ближе к центру, и теперь бабка бытовала одна. Шел сюда Еремеев с неохотой. Шел он замедленным шагом, дожидаясь, пока попутчица докурит, не дай бог увидит бабка ее с папиросой — лучше не подходи. Бригадир не то чтобы враждовал с бабкой, но все как-то доброго разговора не получалось у них — ругань одна. Еремеев всю войну прошел старшиной, да и после, в деревне своей, на разных должностях перебывал не ниже бригадира, потому разговаривать привык коротко, редко выслушивая возражения. Но на бабку Еремеевы команды не действовали. Забредут, к примеру, бабкины гуси в посевы, Еремеев — в крик.

— И твои, и твои заходят,— жалеючи, покачивая головой, скажет бабка.— Заметили, как же! Ты своих допрежь устереги.

Еремеев — ругаться с женой.

Подошли к избе. Бабка в ограде поила телка.

— Лукьяновна,— поздоровавшись, бодро начал Еремеев,—ты вот все жаловалась, что скучаешь по вечерам одна, так я тебе постояльцев привел.

— Кого ишшо? — выпрямилась от ведра бабка.

— Приезжая, жить будет у нас, работать,— пояснил бригадир.

— Сколько же ей лет, приезжей? — вытирая о подол юбки руки, спросила бабка. Спросила, будто Еремеев один стоял перед нею.

— Сколько лет...— Еремеев не знал, сколько.— Молодая еще.

— Что ж у ней, у молодой, по сей день ни кола, ни двора своего — на постой просится?

— Как специалиста прислали,— стыдясь, врал Еремеев.— Потом квартиру дадим.



— Видна-а,— протянула бабка.— Приезжал тут один специалист...

— Ты, бабка, ровно прокурор.— Злясь, Еремеев переступал с ноги на ногу.— Что да как. Сама же просила квартиранта, а теперь отказываешься.

— Так я у тебя кого просила? Я учительницу просила. Она девка тихая, образованная. Она б мне письма под диктовку писала. А ты взял да отвел ее к Лушихе. А у Лушихи ее и положить негде. У Лушихи в избе черт голову сломит. Я надысь зашла, а у нее середь пола чугун ведерный с картохой. Я говорю...

— И эта не хуже,— не дослушал Еремеев.— Эта будет письма писать — диктуй, только успевай. Принимай! Разве я плохого человека могу тебе привести?

— Ты все можешь,— покивала головой бабка,— ты в прошлый раз...

— А мы тебе дров привезем в первую очередь,— обещал Еремеев.— Как по заморозку снег пойдет — так тебе. И распилить поможем.

Дрова доконали бабку.

С дровами, по мнению бабки, бригадир обычно хитрил. Всем привезут давным-давно, а она все ходит кланяется. То трактор занят, то мужиков не соберешь — в работе. По талому снегу и привозят.

— Смотри,— сказала она, открывая воротца.— На дровах объегоришь — лучше не подступайся.

Но Еремеев уже уходил по переулку.

В сумерках к бабке зашли по делам две соседки. Бабка загоняла в ограду гусей.

— У тебя поселились эти? — поинтересовались соседки.

— У меня.— Бабка с хворостиной в руке подошла к воротцам.— Куды ж еще! Сам Ерема привел, уж то просил, то просил. Я, говорит, тебе, Лукьяновна, дров в первую очередь. И распилим-расколем, и...

— Кормила их?

— Как же... Супу дала, хлеба. Парнишке кусок сахару. Она-то хлебала суп, хлебала, аж ложкой по дну скребла.

— Изголодались.

— Обещал им Ерема продукты из кладовой отпускать попервости, да не знаю, как они зиму протянут.

— Ты пойди глянь, что делает она.

Бабка со стороны огорода подкралась к окну, пригнувшись, заглянула в нижний глазок. Вернулась скоро.

— Лежит, курит.

— Вот оно что,— крутили головами бабы.— Курит. Как мужик.

— Подошли, я как глянула на нее — батюшки мои! До того страшна, до того страшна, я таких не видала еще. Глаз черный, порченый... Как пове-

ла на меня, я аж и присела. А парнишка пригожий.

— Не ее, поди.

— Ну-у, глазищи такие же, так и лупает ими.

— Ты пойди погляди, что делает.

Бабка, пригнувшись от ворот, пошла снова. Вернулась.

— Встала.

— А что делать начала?

— Закуривает.

— О-ох! — обмирали бабы.— Спалит она тебя, Лукьяновна. Приняла на свою беду. Откажись, пока не поздно. Отлежится, а потом начнет по деревне шастать, выпивку сшибать.

— А что ж.

Потолковав, бабы разошлись.

Наутро бабка кинулась в контору.

— Ку-урит! — с порога закричала она Еремееву.— Что же ты, дьявол однорукий, обманом меня взял! У меня старик не курил, а она коптит в потолок. А кто белить станет?

— Договор дороже денег,— отшутился Еремеев.— Подумаешь, курит! Беда какая! Може, она сердечница. Им врачи специально курить советуют для успокоения. Что ж теперь, выгонять ее? Подумай, в какое положение ты меня ставишь. Я уже и начальству доложил — с жильем определена. А ты — курит! Давай выгоняй! А когда дрова нужны будут, ко мне же и придешь трактор просить.

Ругаясь, бабка вернулась к себе.

А квартирантка встала чуть позже хозяйки, умылась, пол подмела, воды принесла и, собрав мальчишку, повела его в школу.

— Ишь ты,— удивились все.— В школу парня повела, знать, баба с соображением.

На второй день она вышла на работу. И ничего. Баба как баба. И видом совсем не страшна. Худа, правда, шибко. Оттого на смуглом до черноты лице диковатыми казались большие глаза. И деревенские не все красавцы. Присмотрелись, верно, друг к другу, потому и считалось — все у каждого как следует. И матом, как ожидали, приезжая не ругалась. И выпивку не сшибала по деревне.

Одно — курила много. Там, видно, научилась. Придет утром в контору, сядет с мужиками, пока разнарядка идет, пока бригадир сводку передает на центральную, раза три закурит. Тут же и прозвали ее за это: Надя-Курилка. И фамилию долгое время не все знали. Скажут: Курилка — сразу понятно, о ком речь.

Поработала Надя неделю на разных, пришла к Еремееву.

— Вот что, начальник, не дело это — что ни день, то новая работа. Два дня на току работала, день школу обмазывала, день в амбарах щели затыкала. Что это?.. А потом ходи, собирай копейки. Ты мне постоянную работу определи, чтоб ее только и знала. Тогда и спрос будет. Мне заработок нужен, парнишку одеть-обуть, да и сама хожу...

Поставили Надю работать телятницей в родильное отделение. Умели работать и наши бабы, войну передюжили, да и после не легче им было сколько годов. Всякую работу знали-делали, но и им в удивление было Надино старание. Сначала Надя навела порядок в помещении, где ей предстояло работать. Скотный двор длинный, перегорожен посредине, в одной половине коровы перед отелом стоят, в другой — телята новорожденные. За этими телятами ухаживать стала Надя. Она, как пришла, всю грязь, навоз скопившийся (нерадивая до нее была телятница) выгрузила из своей половины, стены внутри обмазала заново — утепляя, печку обмазала, побелила кругом и клетки заодно — «чтоб зараза не пристала». Полы в проходе перестелили плотники, по обе стороны прохода — клетки, по двадцать на каждой стороне. Сорок маленьких телят.

Чистота у Нади — у другой бабы в избе не так прибрано.

А она сходила в соседнюю деревню, выпросила у медсестры халат старенький, подштопала его, подправила и в халате том по телятнику.

— Как доктор,— шутили бабы.

Новорожденные телята, что дети малые — за ними уход да уход. И возится она днями целыми с ними, молоком их подогретым поит, отваром клевера, болтушкой мучной. Клетки три раза на день чистит. Зимой, темень еще, метель крутит, сровняло дороги, а она торопится раньше всех, утопая, в телятник печку растоплять, чтоб телята не простудились. Чуть что — бежит к Еремееву.

— Печка дымит, посмотреть надо, полы в клетках подгнили — теленок провалится, ногу сломает

И так день за днем. Выходит до определенного времени, в другие руки передает, а к ней почти каждые сутки после отела поступают. Растел на зимний период обычно приходится. Случалось, и ночевала тут же.

При работе такой и результаты видны. У Нади чистота в родилке, как ни у кого, у Нади привес ежемесячный выше, чем в других бригадах, у Нади заболеваемость телят редка.

И заработок был. Придет в день зарплаты в контору, случатся у кассира мелкие деньги, начнет отсчитывать ей рублями да трешками — ворох бумажек на столе.

— Огребает баба деньжищ! — скажет кто-либо завистливо за спиной.

На него тут же накинутся:

— Огребай и ты, кто ж тебе не дает. Хоть лопатой!

— Вот-вот. Сначала навоз, а потом — рубли!

— Да не с его ухваткой!

— О чем и разговор!

Бригадир соседней бригады, прослышав, что живет Надя на квартире, приехал втихую, чтобы переманить ее к себе.

— Переезжай, машину пришлю. Избу новую займешь!

Еремеев узнал да бегом на ферму. Сцепились с бригадиром тем, чуть не до драки.

— Во Ерема забегал,— смеялись по деревне.— А, бывало, первыми днями, как увидит Надю, нос на сторону.

Весной освободилась по нашему переулку просторная изба. Еремеев сам пришел к Наде.

— Вот что, Надежда, хватит тебе по квартирам мотаться, переходи, занимай избу. Огород там хороший, сарай крепкий, хозяйкой будешь.

Лукьяниха — в слезы. Привыкла за год к квартирантам. Еремеева клясть начала — опять он во всем виноватый. А над Надей запричитала-заплакала:

— И чего тебе не жить у меня, и чем я тебе не угодила, разве слово какое плохое сказала? И не надо мне платы с тебя, живи как дочь родная, умру — все тебе достанется.

— Ничего мне твоего не нужно, бабушка,— смеялась Надя.— Что ж, я так и буду всю жизнь квартиранткой у тебя? Я, может, замуж захочу выйти.

Перебралась, и стали мы соседями.

Десять лет прожила Надя в нашей деревне. За годы эти все успели забыть давно, что приезжая она да после заключения. Будто родилась тут, да так и жила все время рядом с нами. Давно уже не называла она Еремеева «начальником», в раз-

говоре величала по отчеству, а за спиной — Еремой. Все годы ухаживала за телятами. Сын ее, Колька, после семилетки закончил курсы трактористов, на трактор сел. И каким парнем вырос — любому такого сына пожелать можно. Смирный, в работе безотказный. И хорош по-девичьи. Бывало, идет навстречу н, шагов десять не доходя, голову наклонит, как взрослый — здоровается. Мотоцикл купил себе, ружье, фотоаппарат. Оделся на свои заработанные.

Надю несколько раз в область посылали как лучшую телятницу. Приедет, подарков привезет бабам — соседкам. Той — платок, этой —на юбку. Сыну прнемник ручной прнвезла — транзистор. С приемником этим любила она ходить за ягодой. Рассказывала:

— На сучок его повешу, он кричит, и мне веселее, будто разговаривает кто со мной.

Собрание какое случится — Надю обязательно похвалят. И Еремеева упомянут. Так и говорят:

— В бригаде Еремеева телятница Кузнецова Надежда Федоровна...

Еремееву приятно, конечно.

Дело соседское — часто заходила она к нам, подружилась с матерью.

— Яковлевна, научи носки вязать, зима скоро.

— Да я тебе свяжу,— пообещает мать.

— Ну что же, мне так всю жизнь и будут вязать, сама научусь.

Или:

— Пойдем посмотришь, так ли я рассаду высадила. Не густо ли.

И за добро добром платила.

Случалось, прихворнет мать зимой, она и корову подоит и баню вытопит, когда нужно. Каждую осень картошку помогала копать. Всюду успевала.

— Надька, замуж тебе надо,— говаривали бабы.— Не шестьдесят лет — одной-то быть.

— Вот Кольку женю,— соглашалась она,— а там н сама объявлюсь невестой.

Хорошо помню ее на пожаре.

Загорелась избенка бабки Сысоихи. Избенка старая, крыша седловиной прогнулась, над крышей этой кособокая, с дырявым чугунком наверху, подымалась труба. Трубу не чистили сколько лет, не обмазывали, прогорела она — от нее тесины взялись. Август, сенокос, все на полях. Сбежались, кто оказался в деревне,— бабы, два-три мужика-пенсионера. Стоят поодаль, смотрят, как пластается по крыше огонь, тесины потрескивают. Воды рядом нет. За водой бабка Сысоиха к соседям ходила, принесет ведро— ей на два дня хватает. А колодец тот метров за двести, попробуй потаскай, чтобы залить огонь.

Надя прибежала от телятника.

— Мужики, что ж вы стоите, добро вытаскивать надо!

— Да там нет ни хрена —чего лезть. Постель бабы вынесли, успели.

— Давно сгореть надо было завалюхе. У сынов вон какие дома.

У Сысоихи два сына по соседним деревням жили, да не ладила со снохами бабка, все угодить ей не могли, переругалась со всеми, да и вернулась к себе.

— О-ой, бабы! — завопила тут сидевшая на узле с постелью Сысоиха.— Иконка осталась та-ма! Забыла совсем! О-ох, грех смертный! В углу висит икона. Богоматерь Владимирская, мать еще из Расеи привезла. Всю жизнь со мной. О-ох, бабы, смерть мне! — обмирала Сысоиха.

— Дай-ка твой пиджак! — подошла Надя к мужику, одетому поплоше. И ребятишкам: — Лейте на меня!

Надю облили из двух ведер.

— Надька!— окружили ее бабы.— Куда тебя несет, сгоришь ведь!

— Не сгорю! — Надя накрыла голову пнджаком.— Я на пожаре первый раз. А сгорю — туда и дорога.

Обежала вокруг, но сени, набранные из осинового горбыля, полыхали со всех сторон. Взяла тогда вынесенную скамейку, отвела для размаха и раз за разом ударила торцом в оконную раму. Стекла посыпались вовнутрь, из окна повалил дым. Отбросив скамью, Надя перелезла через подоконник. Через минуты какие из окна на траву вылетела кастрюля, сковородник, две алюминиевые тарелки. А потом показалась сама Надя. Под мышкой, завернутая в тряпку, зажата была икона, в другой руке держала она рамку с фотографиями.

— На, бабка,— сказала Сысоихе.— Молись своему богу.

И села на траву, закашлялась: дыму наглоталась.

А в конце сентября, когда все убрали в огородах, Кузнецовы собрались уезжать.

— Надька,— затосковали бабы,— или не пожилось тебе тут?

Бабы, они друг друга всегда лучше понимают и дружат крепче, чем мужики.

— Пожилось, видно, раз десять лет день в день отжила. Да ведь и родина есть у меня, туда показаться надо. Сестру сколько времени не видела.

Распродала все, в бригаде рассчиталась. Еремеев почернел аж: где теперь такую телятницу сыщешь? И на трактор вместо парня надо садить кого-то.

Идешь, бывало, с полей, сумерки, коров уже подоили, а они сидят, мать с сыном, на крыльце избы своей, не заколоченной пока,— курят. Она—махорку по обыкновению, он — папиросы. Разговаривают. Посмотришь, и так сердце сожмется от всего этого.

Каждый день заходила к нам.

— Надя,— спросила ее как-то мать.— Дело прошлое, давно я хотела узнать, да все стеснялась. За что же тебя наказали тогда, перед тем, как ты к нам приехала? Баба ты — кругом молодец.

— А разве я не рассказывала?— засмеялась та.— Жили мы на станции, в торговле я работала, в овощном магазине. Дружочек был у меня, директор базы — Колька-то от него. Днем торговала, а вечером — гульба. Ну и наторговала. Он-то по суду невиновным оказался, а мне четыре года. Кольку государство определило. Я когда освободилась, стыдно было назад возвращаться, многие меня знали. Решила так: уеду куда-либо в деревню, поживу, а там видно будет. Теперь н вернуться можно, все грехи мои быльем поросли.

Дня за два до отъезда собрала к себе всех дс единой баб — прощаться. Угощение выставила. А сыну денег дала, чтобы вина купил да угостил ровесников своих.

Уехали.

И пусто как-то в деревне стало вроде. Будто похоронили кого.

Вот как привыкли к ним.

Два раза присылала яблок нам в гостинец. И письма писала. И Николай писал товарищам. А потом переехали они на новое место, н затерялся след.

Времени прошло порядочно. А бабы наши и мать нет-нет да и вспомнят:

— Как там Надя теперь? А Колька женился, наверно.

Скучают.

Осенними днями

Изба его — крайняя по переулку, возле березовой согры. Летом старик встает рано и целый день занят чем-нибудь около двора: подкашивает бурьян вокруг бани, подправляет нарушенную скотиной городьбу или мастерит что-либо в ограде. Под навесом у него верстак, инструмент кое-какой, заказы бабьи. Придет иная, за работу рубль протянет старику, тот откажется.

— А на что мне, старому человеку, деньги?—скажет.— Пенсия идет. А ты, если будет милость, молока принеси.

Принесет баба молока, другая, бывает, разохотясь, полы помоет. А кто лишь поблагодарит за сделанное — и так ладно.

Осень, первая половина сентября. По утрам на земле зыбкими пластами лежат туманы, с восходом солнца рассеиваются, и долгие, сухие стоят дни. Началась уборка хлебов, сенокосы стихли.

Старик уже четвертое лето не держит корову, сено не косит. Сейчас он занят заготовкой на зиму грибов, ягод. Нарвал шиповнику — чай заваривать, наломанные веточки калины связал пучками и развесил в сенях на гвоздики, вбитые в матицу. Калину зимой старик парил в чугуне в большой печи, а часто ел сырую. Кололо у него в правом боку, признали бабы, что калина помогает от этого недуга, посоветовали есть сырую. Калины довольно запас старик, оставалось грибов набрать.

Вот идет он, прихрамывая, опираясь на палку, по своему переулку и дальше по тропинке в лес, на выруба за грибами-опятами. По грибы и ягоды он ходит по старинке — с корзинкой. Сивая голова его не покрыта, рукава пестрой рубахи закатаны по локоть, на ногах легкие, на шерстяной носок, галоши. Идет, идет старик, остановится, опершись на палку, смотрит по сторонам, будто запоминает места.

Лес в красных и желтых накрапах, в шорохе первого падающего листа — шуршит лист на тропе, мягко ступает нога. Выруба от деревни верстах в трех — долго идет туда старик. Когда-то на этом месте раскачивался на ветрах высокий прямоствольный осинник, а теперь стоят по поляне темные, заглушенные травами пни. Вокруг пней этих из года в год растет гриб-опенок, сюда и ходит старик каждую осень. Да и не только он.

Наберет старик грибов, сядет на пень отдохнуть. Корзина около пня, палка в коленях зажата, сидит, слушает лес. От деревни к вырубам подступают сенокосы, а дальше начинается редкий, по кочкам в жесткой осоке березняк и тянется до самого бора.

Тихо, не видно птиц, только высоко-высоко чертит круги на распластанных крыльях коршун. Отцвели травы, вызрели и уронили на землю семена. Тихо, а налетит ветер, всколыхнет таловый куст — и зашумит он ветвями, роняя узкие бурые листья в корзину. Чуть слышно ответит ему на краю поляны трепетная, снизу доверху желто-красная на блекло-синем полотнище сентябрьского неба осинка. Зашумят кусты и деревья вокруг.

— Боже мой,— шепчет старик,— всю жизнь прожил в лесу, а не замечал красоты такой.— И так ему дорого сейчас все до самой тонкой травинки, упавшего листка, радостно и больно. И слов нет нужных, только сладкая боль внутри да пустота. Сидит, слушает лес. Отдохнет и той же тропинкой обратно. И долго, зацепившись за плечо, будет тянуться следом длинная блескучая паутинка. Дома он переберет опенки, листву отделит, травинки попавшие, расстелет на тесовой крыше сеней дождевик и рассыплет по нему грибы — сушить.

— Много ли грибов заготовил, Данилыч? — спросит, зайдя попроведать, соседка.

— А две корзины всего,— скажет старик.

В деревне на такие вопросы по-разному отвечают. Кто все тайком от людей делает — уменьшит наполовину, другой — прихвастнет. Набрал ведро — скажет четыре.

— Две корзины,— сознается старик.— Сухих-то, однако, полведра всего наберется. Как дойдут — приходи, тебе отсыплю. Куда мне одному столько?

Четвертая осень пошла, как, похоронив старуху, старик живет один. Все теперь по дому делает сам. И еду готовит. Варит он раз в день, утром, чаще всего суп, с теми же вот опятами или с крупами, вечером пьет чай, а то — молоко, если принесет кто. Корову и овечек старик продал сразу же после похорон, десяток кур — все его хозяйство. Хлебая подогретый суп, не чувствуя почти вкуса его, не испытывая, как прежде, радости от пищи, старик вспоминал иногда, как совсем молодым, до войны еще, работал он на лесоповале или позже швырял через голову пятипудовые мешки в «Заготзерне». Вот когда шла еда. В то время старик постоянно носил в себе легкое, сосущее чувство голода ко всему, не только к пище. Долгое время ловок был он и в работе и в гульбе. Пойдет, бывало, под гармонь: «Эх, где мои семнадцать лет!» Да ладонями по голенищам, да по полу. Роста невысокого, плечи висловатые — в родителя весь.

Он и сейчас еще крепок с виду, грудь не запала ничуть, усох, правда, несколько. Но внутри, чувствовал старик, износился он. Будто порвалось что-то там главное, что держало все годы в теле силу, не напрочь порвалось, держит еще, но совсем не так, как прежде. По теплу он целыми днями старался быть на воздухе, двигаться, зная, что слякоть и зиму придется сидеть в избе.

— Семьдесят шестой годок уходит,— заметит он в разговоре,— как ни бодрись.

— До ста доживешь, Данилыч,— пошутит кто-нибудь.— Вон Плешаков старше тебя, а не подумаешь никогда.

— И-и, милый,— покивает старик седой головой.— Ему бы, Плешакову, с мое поворочать, давно бы сгинул. Он ведь, сколь его помню, все на должностях. То землемером, то объездчиком, кладовщиком просидел лет десять. От войны ослобонили как сердечника — спина не ломана.

Был у старика одногодок в деревне, по хорошим дням ходили они проведать друг друга. Получит старик пенсию, возьмет в магазине большую, черного стекла, бутылку вина да и пойдет на другой край деревни. Долго сидят ровесники за вином, запьянеют. Выйдут на крыльцо, долго прощаются и все говорят, говорят вразнобой.

— А времечко-то наше уходит, уходит, кум, а?

— Э-э, уходит... Ушло уже — вот как!

— А ведь пожили... все одно — хорошо пожили!

— Пожили — что и говорить. Пожили, поработали. Пущай они так проживут!

— Куды-ы им! Они вот машинами не могут, а мы — все руками!

— Руками, кум, руками, а как делали!

Смолоду любил старик две работы: колоть дрова и косить траву. Особенно — косить. Сейчас литовки у хозяев по сараям ржавеют, уже и конных косилок не увидишь, тракторами все. А раньше, бывало...



Иногда старик видит себя во сне — как ведет он первый прокос, молодой, взмокревшие волосы на лоб, расстегнутая рубаха навыпуск, рукава закатаны, идет, чувствуя затылком солнце. Утро, рань, роса моет литовку; ведет он первый прокос, а за ним — бабы.

В крестьянстве всякое приходилось делать старику. Бывал он на разных работах. После войны, хоть и болела нога, не отказывался, когда посылали. Пахал наравне со всеми, боронил и сеял, а когда подходила трава, водил по полям звено баб-косарей. И метал накошенное, а осенью, в уборочную, швырял снопы в зев молотилки, скирдовал солому, зимой солому ту возил с полей. Так год за годом. Конюхом работал, а последние перед пенсией годы плотничал. Рубил скотные дворы, амбары, старые ремонтировал по осеням, гнул полозья для саней, ставил на колеса телеги и столярную работу правил, когда нужда выходила. Теперь отошел от всего. Но все одно ноют руки, просят настоящей работы. Иногда, заслыша стук топоров, идет старик посмотреть сруб. Сядет на ошкуренное бревно, погладит смолистый бок, щепу свежую к лицу поднесет и, закрыв глаза, долго потянет носом. Попросит топор, прикинет к руке топорище, попробует пальцем лезвие и, сев на бревно верхом, двигаясь спиной к концу его, как по шнуру протешет боковины.

Иной раз старик помогал кому-нибудь в переулке с сенокосом управиться — на стогу стоял.

В деревне каждый на виду. Живет мужик — все о нем знают, что̀ может он, а что̀ нет. Какая работа особо у него спорится-ладится. Тот рамы вяжет — залюбуешься, другой косу насадит — отобьет, как никто. Два-три мужика славятся как хорошие метчики. Иной так возьмет, подаст и положит навильник, что стогоправу и делать нечего, ногой придавит — и только. Старик и сам годами ходил в первейших метчиках — навильник брал треть копны — и со старухой своей такие стога ставил, что отличны были они от других. Так и говорили: зто Данилыч метал. А на стогах всегда бабы — их работа. Стога вывершивать старик парнишкой еще учился, с той поры не занимался. Этим летом так ему захотелось побыть на сенокосе, хотя бы на стогу постоять, пошел к соседу напрашиваться.

— Ты уж метать как задумаешь — пригласи меня стогоправить, душу отвести напоследок.

Пригласили его.

Стог расчали на трех копнах.

— Не мал ли начали? — засомневался хозяин.— Копен около сорока, по центнеру каждая!

— Пятьдесят уложим.— Старик взял вилы-тройчатки с коротким черенком (граблей он на стогу не признавал), взобрался и стал ходить по краям стога, растаптывая, принимая навильник за навильником.

Ехали к сенокосу недалеко, версты полторы. Старику сверху хорошо видна деревня — изба его, ближние поля. В полях убрано и просторно оттого вроде, стога огорожены — скот свободно пасется. А во-он там, за перелеском, его, старика, бывший сенокос.

— Не зевай, Данилыч! — кричат снизу.

— Засмотрелся я,— повинился улыбкой старик.— Уж больно удобно деревня наша стоит... И вода и выпаса — все рядом.

Стога старик вывершил округлые — ни выступа, ни зазубрины; утоптал, начнись сейчас дождь-косохлест — не пробьет ни в какую. Спустился с последнего по веревке, ступил на землю, а нога не держит. Опираясь на вилы, доковылял до телеги, сел.

— Отметал я свое, ребята.

Поехали к хозяину ужинать. Зная заранее, что будут их угощать после работы, старик еще утром попросил хозяйку:

— Ты мне, милая, супчику свари жиденького.

Сварят ему супу с куриными потрохами, выпьет старик с бабами красненького, похлебает горячего, поговорит. А мужики на другом конце стола спорят о своем. Вот молодой парнишка, допризывник еще, стал жаловаться на заработок. Вчера он скирдовал солому, так пятерку всего и заработал, а ребята на пахоте по десять рублей за смену выгоняют.

— Сынок,— не стерпел, вмешался старик.—Ты вот жалишься — плата мала, пятерку всего заработал. Пятерка — это пятьдесят старыми. Полсотни, как мы называли. Ее, полсотни-то, держишь в руках — деньги. А ты... Что́ ты вчера делал? Скирдовал! Ты стогометателем взял зараз копну соломы из-под комбайна и на скирду положил. А я, бывало, к куче такой пятьдесят пять раз подбегу, да столько же навильников на скирду выброшу. Вот как. Ла́дони горят, мозоли лопаются, а я...

— Ты мне, дед, про ранешнее не толкуй,— оборвал старика захмелевший допризывник.— Я сейчас живу. Я сел на трактор — дай мне заработать. Правильно? А то — раньше... Раньше вы вон на быках в Москву ездили!

Ну, в Москву не в Москву, а в областной город, случалось, часто старик отправлялся на быках. Да что там на быках — на коровах ездили. Нужно, к примеру, мужику картошку продать, одежду ребятишкам к школе справить, запряг корову и поехал. Быка для такого раза никто не дает. Всякое бывало. Только объяснять все это не хотел старик: не поймет парень, времена иные теперь. Вот уж и пять рублей им не деньги.

Встанет старик, попрощается со всеми за руку, засобирается к себе.

— Посидел бы, Данилыч, что́ одному-то быть.

— Нет, пойду, с утра домой не заглядывал.

И пойдет по переулку к избе своей.

Он найдет еще себе работу в ограде: поправит поленницу, сарай закроет, где куры ночуют, в старое ведро щепы наберет возле верстака — утром на растопку, а управясь — закурит, облокотясь на городьбу.

«Скоро картошку копать»,— с грустью подумает он, глядя в огород, и вспомнит, как выходили они со старухой каждую осень копать. По хозяйству у них давно были размечены обязанности: старуха — в избе возле печи, он — на дворе, а уж такие работы, как сенокос, огород,— вдвоем.

Утром старик шел в огород, отметив прогон,— выдергивал ботву, складывая ее кучками возле изгороди, а после завтрака начинали друг перед другом, ведро за ведром.

— Как картошка нынче? — спросит кто-либо, проходя мимо, и остановится поговорить.

— Мелка, да накописта, сорок лунок — два ведра,— разогнувшись, быстро ответит старуха, и спрашивающий засмеется: старуха всегда так говорила.

Была она ростом чуток пониже старика, а уж проворна как... Глянешь, ведро опять полное. А день чистый, теплынь, оглянешься — согнутые спины по огородам.

— Эх, Никитишна! — кряхтит горестно старик.— Как же это, жили вместе, а ушла одна. Подождала б.

Идет в избу.

Но спать ему не хочется, и занятия себе он никак не может найти, садится к окошку и опять лезет в карман за табаком. В окно виден пустой затравеневший переулок, уходивший к речке, к старому горбатому мосту — давно старик не был на той стороне.

Так сидел он, курил, думал, а темнело уже, сумерки постепенно скрали дальние избы, изгороди, рябину в палисаднике.

О смерти думал старик. С того дня, как похоронил старуху, он иногда задумывался об этом, но вскользь, как о каком-то обыденном деле, шибко голову ломать не к чему было, раз так определено природой. Единственно, что хотел старик,— это умереть на ногах и при полном разуме. А как сляжешь в болезнях — кому-то ухаживать нужно будет за тобой, а это всегда в тягость. Плохо, что похоронят чужие люди, ну да что ж теперь, раз так сложилось. Свои же, деревенские, и похоронят. А наказ насчет избы и всего остального он даст кому-нибудь заранее.

На войне могли убить просто. Но там можно было обойти смерть хитростью, смелостью ли, часто смекалкой. Здесь никак не обойдешь. Пришло время — все. Всех. Вот это, что всех, шибко устраивало старика.

А если б на выбор, обиды бы начались промеж людей. Я вот умираю, а ты остаешься. Плохих бы людей много осталось, а им, как понимал старик, в первую очередь уходить надо.

Он, старик, жизнь свою прожил как следует. Работал с малых лет, не ловчил, не лукавил, никого не обидел, не обманул. Со старухой ладил. Плохо одно — детей у них не было. Первым не могла разродиться, делали операцию, с тех пор и не пошли дети. Говорили старику после того — чего, мол, живешь с бесплодной, бросай да бери другую. «Вот тебе на,— удивился старик.— Как это — бросай? А для чего сходились тогда? Да разве она виновата в этом?» Сам старик всегда хотел детей, но при старухе не говорил, боясь обидеть. Сейчас вот он думал: будь дети, какими бы выросли они повадками и характером, где бы жили — рядом или сами по себе?

Вспоминая год за годом прожитое, понял старик, как нравилось ему жить на земле, какие славные люди окружали его в работе, на войне и в праздниках. За ежедневной канителью, бывает, и времени нет присмотреться к кому-нибудь толком, а потом при каком-то случае увидишь вдруг, какой хороший человек был возле тебя, и странным покажется, что не выделил ты его раньше, не отметил среди других...

На дворе темь, старик зажигает свет, ходит от окна к двери, не зная, чем заняться. Письмо бы сейчас написать — да некому. Было их три сына у отца с матерью, двое не вернулись с войны.

Подходит к окну, долго смотрит в темноту.

— Да,— только и скажет себе, качая белой головой.— Да.

И всю жизнь его с бедами, горестями и радостями вберет в себя это короткое слово. Старик разбирает постель, гасит свет, долго лежит, поглаживая, успокаивая простреленную в двух местах ногу, и под утро засыпает.

Устройство

На сто какой-то версте, буксуя, грузовик поломался. Торжавин, толкавший его, помыл в канале руки и, подвернув забрызганные штаны, жалея ботинки, пошел по раскисшей дороге к поселку, до которого оставалось всего полчаса езды.

Поселок стоял на супесчаном взгорье, дождь по улицам большой грязи не наделал, только там, где часто проходили машины, в выбоинах держалась вода.

Торжавин бывал здесь, поэтому без расспросов разыскал столовую: выехал он рано, без завтрака, и теперь хотел есть. В столовой снял сырой плащ и долго сидел возле окна, грелся чаем, глядя на мокрые деревья, на прохожих, одетых по-осеннему,— август держался холодный, с частыми дождями. Потом вышел, подобранной возле крыльца щепкой соскреб со штанин подсохшую грязь, постоял, вспоминая, где центральная улица, и направился по делам. Торжавину нужно было найти районо — он приехал устраиваться на работу.

Год Торжавин прожил с матерью в далекой деревне в северном краю района. Деревня разъезжалась, осталось несколько дворов; в начале лета, по суху Торжавин спустился километров на сорок вниз по речке, на которой родился, побывал в нескольких деревнях, одна из них, Еловка, понравилась ему — сюда они и решили с матерью переехать. Они бы сразу и перебрались, да огород удерживал — договорились дождаться осени. В Еловке была школа-восьмилетка, требовался туда на новый учебный год историк — на это место Торжавин и рассчитывал.

— Ты мне подпиши заявление,— просил он директора школы, с которым виделся несколько раз и разговаривал,—подпиши, а то пришлют кого-нибудь по распределению, останусь я ни с чем.

— Я бы подписал,— упирался директор,— а что в районо скажут? Они скажут: что же ты, голубчик, с нами не посоветовавшись, на работу принимаешь? Ты поезжай, поговори там. Если они будут не против, я от своих слов не откажусь.

И Торжавин поехал в поселок.

Поселок — в прошлом небольшой купеческий городок — давно, когда через него проходил центральный тракт, был славен торговыми рядами, ежегодными конными ярмарками, на которые приезжали издалека. Остались от тех времен каменная церковь да двухэтажные, под железом, деревянные, на фундаментах особняки. В одном из таких особняков с высоким крыльцом, резьбой по карнизам и наличникам помещался районный отдел народного образования. Возле крыльца Торжавин вытер о траву ботинки, застегнул плащ и поднялся на второй этаж. В приемной беспрерывно стучала машинка, пожилая секретарша печатала быстро, скосив глаза в текст, возле дверей с табличкой «Зав. районо т. Луптева» томилась очередь человек около десяти. Торжавин встал в хвосте ее и, простояв не более часу, попал в кабинет. Заведующая в строгом черном жакете, в белой с отложным воротником кофточке, гладко причесанная, сидела возле окна под большим портретом Макаренко, положив руки на стол. Она не писала, не разговаривала по телефону, она принимала посетителей.

— Слушаю вас,— сказала Луптева, когда Торжавин сел по ее приглашению.

Лицо завральоно понравилось Торжавину. «Хорошее лицо,— подумал он.— Добрая она, видно».

— Я в отношении работы,—начал Торжавин.— Мне известно, что в Еловскую школу требуется историк.

— Вы что же, живете в Еловке? — Луптева приветливо улыбнулась. Посетитель ей тоже понравился — спокойный, прическа аккуратная и одет без вольностей. Угрюм, правда, несколько.

— Нет, я живу в другом месте,— пояснил Торжавин.— Но я был в Еловке и разговаривал с директором.

— С Волковым?

— Да.

— И что же он?

— Он не возражает... Как вы.

— Нам действительно нужен историк в Еловку... А вам раньше приходилось работать преподавателем?

— Я работал год в средней школе. Читал историю.

— Где вы работали?

— За Уралом.

— Простите, а как вы оказались у нас?

— Здесь мои родные места.

— Хорошо.— Голос Луптевой был ровный, идущий изнутри.— Документы при вас?

— При мне.— Полез Торжавин во внутренний карман, сразу теряя интерес к делу. До университета он пожил в нескольких городах, работал на различных предприятиях не более года на каждом, и вся трудовая книжка его была уставлена печатями «принят» — «уволен». Последнее время перед университетом его уже и грузчиком не хотели никуда брать, да и на учебу приняли только потому, что вступительные экзамены Торжавин сдал по самым высоким баллам.

Все еще улыбаясь сомкнутыми губами, Луптева взяла трудовую книжку, стала листать, вчитываясь в записи. Губы ее раздвинулись, сгоняя улыбку, бровь изумленно вскинулась вверх, опустилась и опять взлетела. Луптева дошла до вкладыша, отогнула два листка — там стояли такие же печати — и отложила трудовую. Минуту она молчала, не зная, что говорить.

— Последнее время вы жили...— Луптева подняла на Торжавина несколько изменившееся лицо,— жили в нашем районе?

— В Сусловке,— подсказал Торжавин.— Мне нужно было пожить зиму с матерью, отдохнуть.

— Вы что же... болели до того?

— Нет, не болел.

— И работали...— Луптева потянулась к трудовой.

— Почтальоном.

— С высшим образованием!—Завральоно заметно прищурилась.

— Видите ли,— объяснил Торжавин.— В Сусловке не оказалось подходящей работы, пришлось взять эту. У меня характеристики... из школы и с последнего места...

Луптева заглянула в характеристики.

— А теперь вы хотите переехать в Еловку?

— Да,— коротко ответил Торжавин. Он уже понял, что ничего не выйдет.

Завральоно не знала, как поступить. Сюда она была назначена недавно и боялась на первых порах сделать что-либо не так. Отказать сразу она не решалась — историк был нужен, но и принимать с такими документами... Странный человек! Все, кого ни направляли в Еловку, год проработают и бегут — дыра, а этот сам просится. Местный, может, поэтому... Почтальоном работал. Скрывает, видно, что-то. А посылать в Еловку кого-то нужно: до начала занятий осталось две недели. Кого пошлешь?

Все, кто приехал по назначению, распределены по школам, и «передвинуть» никого нельзя. И облоно не обещает: нет людей. Придется, видимо, посылать кого-либо из бывших десятиклассников, не поступивших в институт. Так обычно и делали, когда позарез был нужен учитель. Толку, правда, мало. А этот с высшим образованием, год преподавал. Попробовать если... Послать его к Николину — как тот решит. В случае чего всегда можно сослаться на его решение.

— Вот что,— сказала заврайоно, возвращая Торжавину документы.— Вам необходимо поговорить с товарищем Николиным. Сама я этот вопрос решить не могу. Дело в том, что преподавателей общественных наук мы принимаем с его ведома и согласия. Если разговор закончится положительно — вернитесь за назначением. Здесь недалеко. За углом — большое кирпичное здание. Второй этаж.

Торжавин спрятал документы, попрощался и вышел. Возле здания, к которому он подошел, стояло несколько «газиков», крытых брезентом, в вестибюле сидела дежурная, спрашивая всех, кто куда и зачем идет; она заставила Торжавина раздеться, осмотрела его ноги и только тогда пропустила в правое крыло, назвав номер кабинета.

Торжавин неслышно дошел до нужных дверей — шаги глушила ковровая дорожка, протянутая по коридорам и лестнице. Николин, казалось, ждал его.

— Вы от Луптевой? — встал он навстречу.— Прошу садиться.

Кабинет большой — в два окна, паркетный пол, натертый или покрытый бесцветным лаком, холодно блистал, от двери по нему мимо стола к стульям (как и в коридоре) брошена была узкая плетеная дорожка. Торжавин, сам того не желая, на носках прошел к стене, сел. За полированным столом, на котором белый телефон, бумаги, сидел Николин — молодой, худощавый, рыжеватые волосы отброшены назад, на длинном лице под белесыми бровями в белых ресницах глубокие глаза, коричневый с искоркой пиджак, светлая рубашка, галстук, на лацкане пиджака — вузовский значок.

— И надолго в наши края, Дмитрий Иванович? — спросил, улыбаясь, Николин, раскладывая бумаги.— В свои края,— поправился он и улыбнулся еще лучше.

«Это он от Луптевой узнал имя»,— понял Торжавин и ответил:

— Поживу пока, а там видно будет. Как загадывать...

— И хотите поработать в школе? Позвольте вашу трудовую.

Торжавин полез в карман — снова, как в кабинете Луптевой, чувствуя под сердцем холодок,— шагнул к столику, протягивая. Николин не стал листать книжку, сразу открыл вкладыш, прочел последние записи, отложил.

— Историк нам нужен,—подтвердил он.—Дмитрий Иванович, расскажите, пожалуйста, о себе. Вкратце, конечно. Мы должны знать что-то о человеке, которого берем на работу.

— Ну, что о себе,— тяжело начал Торжавин. Он никогда не любил выворачиваться наизнанку перед незнакомым. Но голос у Николина был доброжелателен, и последняя фраза его обнадеживала несколько.— Родился в Сусловке,— стал рассказывать Торжавин,— на севере района, за год до войны. Отец и мать — крестьяне. Отец умер в пятьдесят третьем— ранен он был на войне. Я как раз тем летом семилетку окончил. Трое нас осталось у матери— я старший. Два лета пас коров в своей деревне, потом ушел в город, на стройке работал первое время разнорабочим...

Торжавин вспомнил, как шел он тогда из Сусловки, подъезжая на попутных, худой, сутуловатый, в кирзовых сапогах, с сумкой за спиной, в которой лежали пироги с морковью. Как жил он у тетки в засыпном бараке на окраине города, в длинном бараке, в четырнадцатиметровой комнате — пятеро их жило там. Как вечерами приходил он со стройки, где подносил кирпичи и раствор, как приходил дядька, и ругал, и попрекал, как пристал он весной к вольной бригаде на Оби и разгружал с ними баржи, приходившие с низовья, спал на берегу, а осенью, с первыми дождями уехал в Среднюю Азию. Там он прожил зиму, весной уехал на Урал, оттуда — к Белому морю, а глубокой осенью — в Молдавию, к теплу. Так он переезжал с места на место, пока не забрали в армию. Да и служил он не со своим годом — дважды давали отсрочку.

— Ну, а потом...— Торжавин поднял глаза. Николин, склонив чуть голову, внимательно смотрел на него, кивал, сочувствуя...— Потом армия, вечерняя школа, университет.

— Так мы с вами ровесники, оказывается,— улыбнулся Николин.— Вам когда тридцать-то?

— В марте исполнилось.

— В марте... А я жду декабря. Вы курите, Дмитрий Иванович? Присаживайтесь поближе.— Николин достал из ящика стола плоскую пачку папирос.— Вот пепельница.— И спичку поднес.

Закурили. У Торжавина от двух затяжек тут же ослабли ноги — плохо он поел в столовой.

— Вы где заканчивали? — Николин ладонью отогнал дым.

— Воронежский.

— А я Казанский. Старейший университет... Ах, студенчество! — Николин подался к Торжавину.— Как праздник — годы те. Не правда ли?!

— Да,— согласился Торжавин,— это так.

Сам он все пять лет, через два дня на третий, ходил на товарную разгружать вагоны, но все одно учиться ему нравилось, и время то он вспоминал часто.

— Я ведь и сам историк,— рассказывал Николин,— на последних курсах увлекся психологией. Перед распределением профессор Раздомский — не слыхали? — крупный специалист, спрашивает: «Ну-с, молодой человек, чем думаете заниматься? Советую остаться при кафедре». А я отказался. Знаете, разговоры пойдут: протеже, то да се... Поработаю, думаю, рядовым, а кандидатская от меня не уйдет. Работал, потом сюда перевели. Вы, кстати, не состоите в...— не забывая ни на секунду о цели прихода посетителя, спросил Николин.

— Нет, не состою,— опередил его Торжавин, щурясь от дыма вроде.

— А здесь работы...— Николин поднял ладонь над головой, показывая.— Запарился совсем. А ребята, слышно, докторские пишут.— Он закурил новую, откинулся на спинку стула, затягиваясь.— Да, психология... Сколько там темных пятен! Вы не читали последнюю работу Блюминштейна? Рекомендую, оригинально мыслит старик, но, знаете, с некоторыми аспектами я не согласен...

Торжавин положил в пепельницу докуренную папиросу и перешел обратно к стене. Неудобно было сидеть так, запросто, рядом с ответственным работником.

— Да,— вспомнил Николин.— Вот вы, Дмитрий Иванович, проситесь в школу, год уже работали, а ведь образование у вас, простите, совсем не педагогическое. Как это получилось?

— Видите ли,— Торжавин сидел, горбясь по обыкновению, нога на ногу, сцепленные руки на коле-

не,— у нас декан своеобразный был. Собрал всех перед выпуском и спрашивает: кто за время учебы охладел к своей профессии, сознайтесь сразу; грома не будет, можем предложить иную работу — в школу, например. Нас трое попросилось в преподаватели.

— Разве бывает такое? — удивился Николин, а про себя отметил: темнит что-то.— Насколько мне известно, специалисты вашего профиля требуются всегда и всюду. Ну, а историей вы дополнительно интересовались?

— Зачем же... У нас шли лекции по всеобщей истории, по истории России. С правовым уклоном, конечно. Я ведь могу преподавать не только в школе — в техникуме, например.

— Так-так.— Николин взял трудовую книжку, начал перелистывать страницы, вчитываясь. Всюду одно и то же. Уволен по собственному желанию, уволен по собственному желанию...

— Там характеристики мои, в конце вкладыша,— подсказал Торжавин.

«Допустим, написать можно что угодно,— листал книжку Николин.— Интересно, почему он не держался ни на одном предприятии? Пил, видимо».

— Дмитрий Иванович.— Николин отложил книжку.— Скажите, а как вы к спиртному относитесь?

Торжавин не знал, что ответить. Он уже не чувствовал к Николину расположения, как в начале разговора, и Николин теперь не улыбался, и голос его был обыкновенен.

Нужно было отвечать, а Торжавин не знал, как. Скажи — пью,— испортишь дело. Скажи — не пью,— не поверит.

— Выпиваю,— глухо произнес он и добавил: — Иногда.

— Так-так.— Николин постукивал пальцами по столу.— Дмитрий Иванович, у вас семья, разумеется. А ваша супруга... кто она по образованию? Скажем, вы пойдете в школу, а где она будет работать?

— Я не живу с женой,—помедля, нехотя ответил Торжавин. Он никак не хотел говорить об этом, все это играло против него. Но он все еще надеялся на Николина. И не сказать нельзя: вдруг при устройстве потребуется показать паспорт, а там штамп развода. Сказал и пожалел. Заметил, что и без того посерьезневший Николин подобрался весь, как для прыжка.

— А что случилось, если не секрет?

— Извините.— Торжавин встал. Он уже понял, что проиграл и здесь.— Извините, я вовсе не намерен...

Зазвонил телефон, спасая Торжавина и Николина.

— Да,— сказал Николин в трубку.— Да, конечно, помню,— и посмотрел на часы.— Знаете что, Дмитрий Иванович,— Николин положил трубку,— вы зайдите ко мне или к Луптевой — лучше к Луптевой — через неделю. Сейчас я вам ничего определенного сказать не могу. Дело в том, что облоно (с облоно он придумал) обещало дополнительно направить к нам человека. Если будет задержка, мы возьмем вас.

«В Еловку пошлем десятиклассницу,— додумывал тут же Николин.— Меньше риска. А если Торжавин надумает явиться еще раз,— объяснить, что из облоно прислали специалиста». .

На этом можно было и закончить, но Николин медлил. Что-то ему не хватало. О чем-то он еще хотел спросить Торжавина. Собственно, вопрос с Торжавиным был решен сразу, когда Николин посмотрел его трудовую. Принимать на работу человека, который прошел через десяток предприятий, человека, который не захотел работать по специальности, человека, который не живет с семьей,— на это Николин никак не мог пойти. Кто знает, что он станет говорить ученикам на уроках. Возможна фальсификация исторических фактов. Но и отказать сразу было бы нетактично. И Николин завел разговор. Хотя разговор получился естественным. Николин всегда затевал разговор с посетителями, стараясь «попасть в душу», как он выражался, «добраться до нутра». Но сейчас он что-то пропустил. Вопрос пропустил. Тот вопрос, в ответе на который Торжавин раскрылся бы полностью.

— Скажите, Дмитрий Иванович,— спросил он, вставая, когда Торжавин уже был возле двери.— Скажите, а вы судимы не были? — И посмотрел, не мигая, прямо в лицо Торжавину.

Торжавин повернулся к Николину. Нет, ничего, кроме любопытства, лицо того не выражало. Торжавин подумал, что он никак не представляет в таком кабинете с лощеным полом себя в галстуке, со значком, чтобы стоял он, Торжавин, вот так за столом с белым телефоном и задавал посетителю страшные в своей обнаженности вопросы.

Николин ждал ответа.

— Отсидел,— коротко сознался Торжавин.— Было такое.

«Вот оно,— прожгло насквозь Николина.— Вот оно что! Чувствовал же я!»

— И за что? — почти шепотом спросил он, подаваясь телом к Торжавину, напряженно стоя на носках.

— За растление несовершеннолетних,— так же доверительным шепотом солгал Торжавин. И толкнул мягко подавшуюся дверь. И вышел из здания.

Уже когда пересек площадь, вдруг вспомнил. Понкратов! Ну да, Понкратов, ведь он должен быть тут. Мать как говорила: Яков работает в районе, и большим, слышно, начальником. Зайди, если не получится с устройством. Отцов товарищ.

Торжавин развернулся и пошел обратно.

— Или забыл что? — спросила навстречу дежурная.

— Мне бы Понкратова повидать, Якова Фомича. Он где сейчас?

— Понкратов выехал в район.—Дежурная все знала.— Будет только завтра. Приходите утром, прием в девять.

Торжавин ушел в гостиницу.

Наутро, в половине девятого, Торжавин пошел к Понкратову. Народ уже собрался в приемной. Торжавин не стал занимать очередь, вышел в коридор, сел. Понкратова он видел в последний раз лет десять назад, когда тот жил еще в Сусловке, работая бригадиром животноводов. За это время Понкратов, побывав на многих должностях, прошел путь от колхозной конторы до кабинета с секретарем в приемной.

«Черт знает, как к нему теперь обращаться,— подумал Торжавин.— Да и помнит ли он меня?»

Без пяти девять в конце коридора показался Понкратов. Торжавин запомнил его в фуфайке, резиновых, замазанных навозом сапогах; сейчас Понкратов был в костюме, нейлоновый плащ нес, перебросив через руку, и только на голове его, крупной голове с чугунным лысеющим лбом, по старой мужицкой привычке сидела кепка. И ничего другого не представлял Торжавин на этой голове — ни шляпы, ни берета, только вот эту приплюснутую кепку, которую Понкратов, видимо, забывает снять и в кабинете. Понкратов шел тяжело, большой, вислопле-

чий, ступал редко, будто считал шаги, и пол, казалось, прогибался под ним. Когда он почти подошел к приемной, Торжавин встал.

— Я к тебе, Яков Фомич,— сказал он негромко, чтобы не слышали в очереди.

— Что? — не поняв, задержал ход Понкратов. Он не любил, когда его останавливали в коридорах.— Вы записались на прием?

— Нет! — Торжавин чуть усмехнулся.— Не записался! Я думал, что сусловские идут вне очереди.

— Торжавин, что ли? — присмотрелся Понкратов.— Ты как здесь оказался? Ты же был где-то там.

— Был там, а теперь здесь. В Сусловке живу, с матерью.

— По делу или как?

— Попроведать,— засмеялся Торжавин.

— Зайдешь после всех,— нахмурился Понкратов и прошел в кабинет сквозь расступившуюся очередь.

Начался прием. Торжавин два раза выходил на улицу курить. Время шло. Когда последний посетитель ушел, Понкратов приоткрыл дверь.

— Заходи,— кивнул Торжавину. И секретарше: — Я занят на полчаса, никого не пускать. Ну, здорово,— протянул он руку, закрыв дверь.— А то неудобно там, в коридоре. Садись, рассказывай, как живешь. Ты ведь учился где-то. Мать здорова?

Торжавин оглядывался. Кабинет в два окна, но, пожалуй, побольше, чем у Николина. Ряд стульев во всю длину стены, два стола. За одним — Понкратов, на другом, поменьше, пара телефонов, бутылка минеральной воды. «Кто же из них главнее?—подумал Торжавин.— Понкратов, видимо: у Николина минеральной воды не было». Все это время, пока Торжавин дожидался в коридоре, Понкратов, выслушивая посетителей, решая различные вопросы, нет-нет, да и вспоминал о нем, думая, чего вдруг тот появился у него. Еще год назад, когда Понкратов только-только занял этот кабинет, ему подумалось, что вот сейчас, узнав о его высоком назначении, начнут к нему приходить с различными просьбами земляки, всякие там кумовья и уж родственники — обязательно. Этого Понкратов страшился больше всего. Но никто в течение года не пришел к нему, не сказал: «Помоги». Торжавин был первый.

— Надумали с матерью в Еловку переехать,— рассказывал он.— Избу купили. Сусловка разбрелась почти.

— Слыхал,—кивнул Понкратов. Он давно уже не был на родине, и не тянуло его туда. Начни вспоминать — все одно и то же: скотные дворы, грязь, ругань, затоптанный, в окурках, пол конторы.

— В Еловке я себе работу присмотрел— преподавателем в школе. С директором договорился, приехал сюда — не берут. У Луптевой был, у Николина. Может, посоветуешь что.

— Что говорят-то? — Понкратов исподлобья посмотрел на Торжавина.

— Ничего не говорят. Спрашивают больше. Почему так, а не этак.

— Тут я тебе не помощник,— засопел Понкратов.—Николину я приказать не могу, он выше меня сидит. Да и Луптевой. Я ведь в основном хозяйственными вопросами занимаюсь, квартирными. Позвонить могу, конечно, но толку...— Он набрал номер.— Зоя Алексеевна?! Здравствуйте, Понкратов говорит. К вам обращался Торжавин по поводу трудоустройства? Обращался... Так... да... понимаю... понимаю...— говорил он в трубку, косясь на Торжавина. Положил трубку, попросил:—Дай-ка трудовую посмотреть.— Долго листал, фыркал толстым носом.

— Все верно. Летун! С таким документом, милый, тебе не в районо нужно, а на Север вербоваться — милое дело. Да и возьмут ли? Как у тебя еще хватило духу к Луптевой пойти, не понимаю. Летун, и все тут.

— А при чем тут трудовая?— сдерживаясь, спросил Торжавин.

— Как это при чем?

— Ну да, при чем? Откуда видно, что я плохо работал?

— Оттуда! Тут девяносто девять печатей — вот что! Все как на ладони! И попробуй докажи, что ты хорош! Ты почему,— Понкратов ткнул пальцем в запись,— столяром не стал работать? Чем плохая специальность? Чистая... хлеб на всю жизнь. А ты год поработал и ушел!

— Правильно,— подтвердил Торжавин.—Там только рамы делали — больше ничего. А я их раньше умел вязать. Уволился, пошел к электрикам.

— Ну, а там что не остался? Чего тебя понесло аж на Печору? — Шея Понкратова наливалась краснотой.

— Ребята на стройку уезжали, и я с ними. Мне интересно было посмотреть новые места. Не был я там ни разу.

— Ин-те-ре-сно! — протянул Понкратов.— Видите ли, ему интересно было. Потому и ходишь, пороги обиваешь в тридцать лет. А сидел бы на одном месте, бил в точку— сейчас бы и квартира была и в квартире...

Сопя, стал закуривать, ломал спички. Торжавин наблюдал за ним.

— Я не хвалюсь собой, но тебе и не грешно послушать. Помнишь, с чего я начинал? Кладовщиком работал, учетчиком, в навозе копался. А сейчас вот,— кивнул Понкратов,— паркет. Через все прошел.

Начинал Понкратов не с кладовщика. Кладовщиком он стал позже, поняв кое-что в жизни. Кладовщик — это первая ступень лестницы, по которой с той поры подымался Понкратов.

Как всякий крестьянин, Понкратов вначале ухаживал за скотом, пахал землю, рубил избы. А кладовщик — это уже должность, хоть крошечная, но власть. Когда в Сусловку приезжало на машинах районное начальство, все, что окружало в тот момент Понкратова, казалось ему убожеством. «А почему я не могу вот так на машине? — спрашивал он себя.— Они могут, а я не могу? Мне, значит, всю жизнь сидеть в кладовой, выдавать сапоги да ведра дояркам? Нет».

И он начал. Некоторое время поработал бригадиром на ферме — это уже был шаг. Стал выступать на собраниях — раз, другой. Критиковать недостатки, предлагать меры к их устранению. Критиковать тех, кого не следовало опасаться, и считаться с теми, кто стоял выше и мог подняться еще выше. Понкратова заметили. Кроме природной смекалки и мужицкой хватки, оставалась в нем кое-какая грамотешка от школы. Посидев зиму над книжками, с положительной характеристикой Понкратов поехал в район и поступил в техникум, на заочное отделение бухгалтеров. А через год перешел в центральную бухгалтерию совхоза. Еще через год он был избран председателем месткома, председателем рабочей кооперации, заместителем директора совхоза по хозяйственной части, и еще, и еще — пока не очутился вот здесь, в кабинете. И тогда Понкратов сказал себе: «Все, Яшка, хватит! Выше некуда. Можно и оскользнуться!»

Теперь он жил в новом доме; в углу одной из трех комнат его квартиры стоял телевизор, на специальном столике — телефон. На стене — ковер. Де-



шевый — на полу. И машина была. Захотел на выходной на озера с ружьем — сел и поехал. За грибами-ягодами с женой — пожалуйста.

Жена его, когда еще Понкратов сидел на малых должностях, работала то в библиотеке, то в военном столе сельсовета, теперь же она службу совсем оставила, занималась домашними делами.

Понкратов смотрел на Торжавина, и его распирала злость. Он не понимал, как зто такой молодой, с образоваиием и ие определил себя. Как ему поможешь... Звонить Николину бесполезно. Торжавин уйдет, а тот где-нибудь когда-нибудь скажет, что вот он, Понкратов, хлопотал за такого-то, а у того документы...

— Надо было ко мне сначала зайти,— с досадой сказал он Торжавиину,— а уж потом к Луптевой. А ты попер напропалую. Нагородил там черт знает что. К чему о судимости ляпиул?!

— Да не сидел я вовсе! — Торжавин встал, прошел туда-сюда по кабинету.— Надоели расспросы — что да как. Выматывают душу. Не нужен, так бы сразу и сказали.

— А ты как хотел — выматывают. Должны они знать человека! А ты влетел с улицы — и, нате вам, направление. Да еще с такими бумагами.

— Не в бумагах дело. Им в диковинку, что человек сам напрашивается в школу. А когда учителя бегут из деревни, зто никого не удивляет?

— Ляпнул о судимости,— тянул Понкратов,— а теперь попробуй переубеди их, что соврал... Какие вы все Торжавины заполошные. Отец твой, бывало, все горло драл.

— Ты отца не тронь! — взвинтился Торжавии.— Он к тебе за хлебом не ходил. Ты сам к нему пришел, вспомни пятьдесят первый!

— Ну и что... А я ему не помогал? Тебе-то откуда знать...

— Знаю я эту помощь.

— Жену бросил, по бабам, небось, шаришься! — разошелся Понкратов.— Почему с женой не живешь?

— Какое ваше дело? — взбеленился, шагнул к столу Торжавин. Он сейчас был противен сам себе за то, что пришлось ходить по кабинетам.— Какое ваше дело: живу — не живу! Что я, перед каждым должен отчет держать?!

— Да ты не ори, зто тебе не в колхозной конторе,— косился на дверь Понкратов.

— Бросил! Как вы сразу догадываетесь! Может, она меня бросила! — Торжавин дергал головой, всегда у него начиналось так, когда доводили его.— Я зиму в области учительствовал, а она, сука, трепалась с кем попадя!

— Ну, ладно, ладно,— морщиися Понкратов.— Не живешь и не живи, какое мое дело! Спросить нельзя, что ли? Садись, чего ты вскочил.

— Шаришься! — лязгал зубами Торжавин. Не мог успокоиться.— Все вы праведниками становитесь в пятьдесят. Ты не шарился... Зинка Жагилина от кого?!

— Какая еще Зинка? — по-волчьи повернулся Понкратов.

— Та, что ты состряпал.

— Ну, зто ты брось,— побурел Понкратов.— Это еще доказать нужно.

— А что доказывать, вся деревня знает.

— Ладно.— Понкратов положил ладони на стол.— Разговор этот ни к чему. Давай о деле. Со школой, надо полагать, ничего не выйдет у тебя.

— Черт с ней! Устроюсь куда-нибудь, работа найдется.

— Ты не психуй, устроишься... У тебя мать. Вернешься в Еловку, чем станешь заниматься?

— На ферму пойду скотником.

— Ну-у... опять двадцать пять. Зачем же ты учился тогда, штаны протирал? Работу и здесь можно подобрать — жилья нет, вот что. С жильем я тебе не помогу. Третий год дом строим, никак сдать не можем. То того, то другого нет. Дом двадцатиквартирный, а очередь — пятьдесят семей. Где остановился? В гостинице? Сделаем так: зайдешь ко мне после выходных, а я за это время кое с кем поговорю. Ну давай.— И, встав, протянул руку.

Торжавин вышел, стоявшие за дверью удивленно смотрели на него.

Понкратов подошел к окну, увидел, как медленно уходил через площадь Торжавин, подняв воротник плаща, сунув руки в карманы.

— Ничего не выйдет,— поморщился Понкратов. И отошел от окна. Надо было заниматься делами.

Во второй половине дня Торжавин ходил по поселку, присматривался. Побывал на хлебозаводе, в заготконторе. Всюду требовались грузчики, слесари-сантехники, уборщицы. Сантехником Торжавин работал когда-то, и можно было бы пойти для начала хотя и на хлебозавод, но в отделах кадров, прежде чем заводить разговор о работе, спрашивали о прописке. Так, обходя улицы, он оказался возле редакции районной газеты. Прошел, вернулся и минуту стоял, раздумывая. Никаких объявлений на двери не было. Зайти если? В студенчестве Торжавин редактировал стенную печать, а когда ездил на каникулах со строительным отрядом, несколько его статеек опубликовала областная молодежная газета.

«Попробую»,— решил Торжавин, потянул ручку двери и очутился в небольшом коридоре; направо, из открытой двери, доходил стук машины — печатной, догадался Торжавин; налево уходил еще один коридор и заканчивался дверью с табличкой «Редактор». Торжавин постучал и, услышав громкое «Давай!», вошел в кабинет. Кабинет был мал совсем, в одно окно, возле того окна за столом сидел толстогубый курчавый человек в темном пиджаке поверх свитера. Правый пустой рукав был затолкан в карман, в левой редактор цепко держал толстый граненый карандаш. Карандашом этим он ловко подправлял строки на свежем газетном листе, ставил кавычки, вопросительные и восклицательные знаки.

— Повремени чуток.— Редактор кивнул на стулья.— Черти! Говорил, другой нужен шрифт, так нет — на своем настояли. Та-ак,— подчеркнул он последнюю строку и, бросив карандаш, несколько раз сжал пальцы, разминая.— И по какому вопросу? — спросил он, и Торжавин увидел, что лицо у редактора круглое и веселое, в рытвинах оспы, с долгими, до скул, баками.

— Люди вам нужны? — спросил Торжавин, глядя в сторону.

— Люди, дорогой мой, всегда нужны,— рассмеялся редактор.— Хорошие люди. Ты насчет работы? Нужен нам литсотрудник в сельхозотдел. Образование какое? Та-ак... А в газете не приходилось работать? Нет?.. А кем работал раньше? Трудовая есть? Ну-ка, давай сюда!

«Так я и знал»,— подумал Торжавин, в который раз доставая трудовую.

— Так-так,— быстро листал редактор.— Фабрики-заводы, понятно.

— Я, знаете,— стыдясь себя, пояснил Торжавин,— рано начал работать, шестнадцати еще не было. Потому пришлось на разных... У меня вот характеристика положительная с последнего...

— И хорошо, что пришлось на разных,— перебил редактор.— Значит, опыт есть различный, наблюдения есть, впечатления всякие. А это — главное. А что толку, если бы ты сорок лет сидел в одной артели, замки делал? Заржавел бы от скуки, а?!—Редактор опять засмеялся и полез за папиросами.— Я, когда молодой был, пол-России объездил. Все посмотреть хотел. Только и помотался, пока молодой. Стариком хоть вспомнить будет что. Ты мне характеристику не суй. Ее всяко сочинить можно. Как с начальством живешь — такая и характеристика. Так, что ли? Я их сам десятками пишу. Ты мне поработай да покажи себя на изломах — тогда и видно будет, что ты за человек. Вот как.—Редактор приподнялся и, стукнув кулаком в стену, крикнул: — Семеныч, зайди!

Скоро вошел старик, грузный, седой, в очках, сдвинутых на лоб, с исписанными листками в руках.

— Семеныч! — Редактор сел на подоконник, прислонился к косяку.— Вот тебе новый литсотрудник, знакомься.

— Ты хоть знаешь, кого берешь? — не глядя на Торжавина, недовольно загудел старик.— Собираешь с бору по сосенке, а я отдувайся. Ты в прошлый раз принял, а он лыка не вязал.

— Ну мало ли что! — не смутился редактор.— Ошибся я тогда. А ты что, не ошибаешься? У человека желание есть, а другому лишь бы день прошел. Мы вот что сделаем, Семеныч. Возьмем его с испытательным сроком. Неделя сроку, а? Пошлем сразу в командировку, в дальние хозяйства, на день-другой. Для сбора материала. Пусть он соберет, обработает и подаст нам. А мы посмотрим. Получилось — берем к себе, не выйдет — тогда извините. Идет? — спросил он Торжавина.— Сегодня какой день? Так... В понедельник на работу к девяти часам. Трудовая пусть лежит у меня. Все. До свидания.

Все это редактор говорил громко и быстро, глядя то на Торжавина, то на старика — завсельхозотделом. Губы его ползли, раздвигались в улыбке, открывая крупные непорченые зубы.

«Вот тебе на,— опомнился на крыльце Торжавин.— А что же он о прописке не спросил? Как же быть? Надо за эти дни старуху какую-то найти, угол снять. Редактору объясню потом, главное — испытание пройти... Если оставят,— размышлял он, шагая к гостинице,— матери напишу, пусть зиму потерпит одна, а к весне, может, здесь что с жильем образуется».

г. Томск

Безумье и мудрость, сливаясь в одно,
Становятся ночью и веют в окно.

И счастье вздохнув, выдыхаешь печаль.
Но жалко любви. А любимой не жаль.

Мы счастливы оба, всерьез и вполне:
Я — въявь, а она — наяву и во сне.

Кого тут жалеть! Я не помню беды
Над чудом общенья земли и воды.

Жизнь — самозабвенье, а не забытье...
Вселенская прачка стирает белье.

И тихим созвездьем не первой руки
В ночном тамариске горят светляки.

Возвращение в Литву

Вот я снова в стране, той, где хлеб
называют «дуона».
Как ты хлеб ни зови, а его не возьмешь
без поклона...
Экий дом-то забавный какой!

И на крыше, небось жемайтийского этого
дома
Дуло к дулу все свищет пустыми стволами
солома —
Отголосок тоски хуторской.

А уж вот он и город, который расчерчен
на плиты —
Силуэты тюльпанов историей в каждую
вбиты,—
Что за чувство он будит во мне!

То ли просто тоску по готическим
призракам детства,
То ль к оседлости ревность — татарского
предка наследство.
Что за воля забыть о коне!

Что за воля забыть кочевую свободу
туркмена,
Журналиста, монгола, геолога, гунна,
спортсмена,
И прожить целый век в городке,

Только службу служа, только милый очаг
раздувая,
Только милым друзьям вечера наобум
раздавая —
Жить легко, а не так, налегке...

В каждой профиль тюльпана — мой шаг
исповедуют плиты.
Ах, отцы-исповедники, местные иезуиты,
Каково-то вам нынче в раю,

Если стройно и тяжко неся благолепье
ботинка,
Столько тайн мимо исповедален проносит
литвинка —
Я в ней юность свою узнаю.

Узнаю поворот, до которого был я не
вправе
Ни другого судить, ни себя же
подвергнуть облаве,
Узнаю эту встряску души,

Узнаю этот ветер, наполненный лиловым
цветом —
Если хочешь, вдохни его третьей декадою,
летом,
И живи, и живи и дыши...

Случайная встреча со старым другом 29 февраля на Касьяновы именины

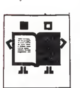
Как богач на некрупную сдачу,
Год махнул на Касьяна рукой:
Что за день, мол, пустяшный такой!..
А Касьян-то сулил нам удачу.
Неужели я что-нибудь значу
Для души твоей, мой дорогой!..
Неужели сумятица дел,
Хлеб насущный да брачное иго
Не лишат нас прекрасного мига —
Взлета душ, и спокойствия тел,
И окна, где в далекий предел
Аполлонова мчится квадрига!..
Где друзья наши! В часе езды.
Где любимые! Ждут нас во злости.
Но безумье — домой или в гости,
Никуда мы отсель — до звезды!
Никуда — от крестьянской еды
И безмолвного звона при тосте!
Если хочешь молчанья вдвоем,
Много ль проку тогда в телефоне!..
Все летят Аполлоновы кони
В мастерскую, в оконный проем,
И кривой городской окоем —
Словно образ недвижной погони...
Ах ты, боже мой, что за подарок,
Безвозвратная ссуда судьбы,
Этот час безобидной гульбы,
Час кофейных и чайных заварок!
Неужели без этих трех чарок
Мы бы жили и дальше, кабы
Ка́бы нашей разлуки безбожной
Не пресек только случай простой,
Торжествующий над суетой,
Над заботой, святой или ложной!!
Неужели пора нам! Постой,
Помолчим над последней, дорожной.
Этот день нам добавлен недаром,
Вот ты в чем, високосная суть:
Лишний шанс друг на друга взглянуть,
Вдруг обняться с товарищем старым...
Поздно, друг мой, пора... Мне —
к бульварам.
Натолкнись на меня где-нибудь.



Олег **КУВАЕВ**

ДВА РАССКАЗА

Рисунок Н. ВОРОБЬЕВА.



надо курлыкать

Наверное, телеграммы «до востребования» сюда приходили редко. Поэтому ее положили на подоконник — на видное место, чтобы не забыть и сразу вручить. За месяц телеграмма выцвела, и потому гриф «срочная» и текст воспринимались с неуместным и мрачным юмором. Г. П. Никитенко сообщал о перерасходе средств «в целом по институту» и предлагал незамедлительно свернуть экспедицию «как утратившую научную перспективу».

...Оба моих лаборанта, которых в Москве давно ждали девушки и вообще грохот истинной жизни, радостно забрались в вагон. Несмотря на юный возраст, они понимали, что при утрате научных перспектив нам вряд ли придется в дальнейшем вместе работать. Поэтому прощание вышло не бодро-экспедиционным, как полагалось, а натянутым и даже фальшивым. Поезд, как мне показалось, тоже облегченно дал сигнал отправления и радостно загромыхал на юг. Подальше от сумрачных ельников и холодных дождей.

Я остался один на путях среди мокрых шпал и липнущего к сапогам песка. Рюкзак мой, сиротливо завалившись набок, лежал на дощатой платформе, куда дежурный по станции выходил встречать поезда.

Дежурный тоже уже ушел.

Было тихо. Вечерело.

Никаких дел на станции у меня не осталось. Я забрал рюкзак и прямиком удалился в лес, который тут же у насыпи и начинался.

Причина моей задержки выглядела никчемной. Но сейчас уж было все одно к одному, сейчас уж неважно. В здешних лесах имелась одна деревушка, о которой, кроме районного начальства да родственников, живущих в ней, наверное, мало кто знал. Стояла она на реке несудоходной и непригодной для сплава леса. Потому и рекой никто не интересовался. Но близ устья той реки имелось несколько островов.

По слухам, на голом граните островов, среди холодного моря, рос лес невиданной мощи и жизнестойкости. Вот на него я и хотел посмотреть.

Попасть на острова по осеннему времени можно было только из лесной деревушки. Взять у кого-нибудь карбас и сплавать.

Еще утром я мечтал осмотреть островной лес с сугубо научными целями. А сейчас, наверное, двигался по инерции или для фиксирования конечной точки научной карьеры, вроде как отметить командировку «прибыл — убыл».

В глазах Г. П. Никитенко, жены и своих собственных я давно уже превратился в унылого научного неудачника. Есть неудачники яростные. Для них мир делится на врагов и друзей. Враги их обходят, зажимают, «ставят им стенку». А они им «заделывают инфаркт» по телефону, «снимают скальп» на конференциях и «бросают через бедро» в коридорной беседе. Друзья им сочувствуют. Унылый же неудачник как бы специально существует для ведомственных кризисов, когда вдруг вспоминают его фамилию.

Он безрогий козел отпущения науки. Существует определенный предел, после которого унылый

неудачник как бы переходит черту и становится такой же привычной деталью, как вход в учреждение. В нем прорезаются месткомовские или иные таланты, и он спокойно живет до пенсии, не обделяемый премиями в красные даты и благодарностями в приказах по случаю юбилеев. Я этого предела не достиг, и потому после телеграммы выход был только один: статья КЗОТ 46 «по собственному желанию».

В сорок лет всякие там порывы уже позади. Остаются мужчине работа и быт. Без работы с моей профессией я не останусь: в любой дыре государства меня ждут не дождутся, а быт, как я понял давно, удобнее всего предоставить собственному течению.

И бог с ней, с наукой, черт с ней, с романтикой познания тайн природы!

Всего семь лет назад я спокойно копался в шокшинских лесах, восстанавливал рубки кедра военных лет и писал незамысловатые статейки о связи почвенных микроэлементов и продуктивности леса. Слова «хобби» тогда еще не знали, но работа над статейками мне нравилась. Потом случилась Большая Научная Ревизия, косуля на вертеле, «сильный коньяк», и Г. П. Никитенко пригласил меня в институт. Ни он, ни жена моя, мечтающая стать женой академика, ни сам я, обуреваемый честолюбием, сразу не заметили, что, наверное, свой научный потенциал я исчерпал в тех самых статейках. Семь бесплодных лет это с ясностью показали. И уж, во всяком случае, разъяснили смысл слов «проза жизни».

...Перебирая все это, шел я от станции вначале ягодными и грибными тропинками, потом просто лесом. Дождь здесь казался слабее. Стук прошедшего товарняка уже был далеким, и на душу сходило успокоение.

Что бы там ни было, а лес я любил до сих пор. Отец-плотник привил мне уважение к простодушной мудрости дерева.

Дождь вдруг стал острее, впереди мелькнул просвет зеленого закатного неба, и я вышел в обширный прошлогодний горельник. Лес в здешних краях не рубили. Он жил, как положено: со свистом рябчиков вдоль малых речек, глухариными выводками, мхами, ягодниками. Но последние годы все шли и шли пожары. Начинались они в небольшом отдалении от железной дороги. Наверное, стосковавшийся по первозданной природе горожанин приезжал и...

Здесь пожар шел верховой. Деревья-скелеты стояли неестественно прямо. Среди тишины и этой кошмарной четкости мертвого леса дождь казался ядовитым, точно падал из радиоактивного облака. И тотчас в левой половине головы у меня запульсировала жилка, пошел нехороший звон в теле — приступ беспричинного ужаса, особенно страшный, когда я был один. И вдобавок сразу же в поясницу раз-другой стрельнул, вонзился в копчик радикулит. Я наскоро натянул брезент, служивший вместо палатки, разостлал собачий спальный мешок. Радикулит — наша профессиональная болезнь, с ним я умел обращаться. В поясницу точно садили из автомата, и все пульсировала, билась жилка, преддверие сумасшествия.

И этот звон, звон, точно я стал металлическим и по мне била боль.

Я много бывал один последние годы и потому завел много самодельных теорий. Вот одна. Не помню уж, где я прочел передовую статью о биопотенциалах деревьев. Если установить достаточно точный датчик, то можно определить, как деревья «узнают» человека.

Допустим, прошел мимо кто-то и просто так тяпнул дерево топором. В следующий раз оно отметит проход именно этого человека электрической вспышкой боли и ненависти. Звон и предчувствие сумасшествия у меня появились недавно. Точно я все чаще стал попадать в окружение изуродованных мною деревьев, и их слабый биопотенциал, объединившись, давил на мозг, рождая и жилку, и звон, и беспричинное чувство страха. За что же мне мстили деревья?

Чтобы отвлечься, я стал думать об этих неизвестных мне поджигателях. Но получилось еще хуже. То ли радикулит разыгрывался от злобы, то ли злоба усугублялась радикулитом. Я лежал, вцепившись в мешок, и разговаривал сам с собой. Аккуратисты! Пепел в своей проклятой машине на сиденье не стряхнут, газ в своей идиотской квартире выключить не забудут. Наверное, «Литературную газету» выписывают, над оскудением природы вздыхают, умиляются прелести травки и русских пейзажей, демонстрируя слайды на домашнем экране. Все это замыкается на пугающий в своей простоте вопрос: почему мы столь легки на сочувствие, податливы на «ахи» и столь тяжелы на малое дело? Отчего большинству легче выступить на пяти собраниях с проповедью любви к природе, чем посадить или просто сберечь одно дерево? Затраты энергии ведь в том и другом случае несовместимы. Почему виноват всегда некто абстрактный и «бяка» живет всегда в другом месте?

И кто в конце концов я-то сам, как не тот же лесной инженер, который не любит смотреть, как щепки летят?

Чуть рассветало, я свернул лагерь. Поясница притихла, и хотелось скорее уйти из мертвого леса. Никогда я не узнаю, где живет, чем занимается тот, кто его поджег в июне прошлого года. Куда он собирается в будущий отпуск? Ладно. Будь проклят и живи дальше!

Сейчас надо все завершать поскорее, уяснить, что научный работник я никакой, и пора возвращаться на производство. Где потише.

...Я всегда гордился своим умением через десятки километров тайги выйти точно на цель. Но из-за этого звона, жилки проклятой, которая не утихала, что-то во мне разладилось, я начал сомневаться, даже полез в рюкзак за компасом. Но тут вдалеке тенькнуло, вроде затрещал мотор — деревня там. Иду правильно.

Я знал, что увижу два-три десятка старых домов, половина из них заколочены и новых ни одного. Новые в больших лесорубных поселках, где кино, школа, магазины и телевизор по вечерам.

На опушке я точно запнулся. Деревня за неширокой кочковатой поймой открылась вся, сразу. Было ощущение, что когда-то давно дома ее, точно испуганные девчонки, каждая в своем веселом ужасе, вылетели из леса, не чуя ног, промчались по лугу к реке и там остановились, рассыпались по берегу. Так они и стояли, может быть, не одну сотню лет. Состарились и лес и дома. Но все-таки помнили тот давний день и веселый испуг, ужас и хохот. Сейчас деревня полыхала рябинами, отблескивала чистыми окнами. Каждый дом стоял отдельно, каждый перекособочился по-своему, и в этом было свое лукавство.

Где-то вверху на реке неторопливо постукивал лодочный слабый мотор.

Он как бы излагал неторопливую повесть житейских осенних хлопот: «Ничего, дорогой товарищ, все идет-катится помаленьку, так уж заведено».

Я не выдержал и улыбнулся.

На той стороне реки тоже был лес. Но уже малосильный, не настоящий. Сквозь него зыбко просвечивали пустоты и угадывалось движение обширных масс океана. Там были и мои острова с невиданным лесом.

Стоило подумать про острова, как снова вернулась, запрыгала, защелкала жилка.

Когда я подошел к крайней избе, из-за перекособоченного, но в веселой синей краске крыльца вышла рыжая собака и трижды гавкнула. Но не на меня, а в избу, вызывая хозяев. После этого собака подошла ко мне, обнюхала колени и, утешительно махнув хвостом, села в сторонке. В сенях тяжко заскрипели половицы. Казалось, кто-то нес тяжелый мешок и боялся в темноте оступиться. Распахнулась дверь, и на крыльцо вышла старуха столь могучего роста, что я даже усомнился в реальности происходящего.

Она была в платье из темного ситца, а из-под платья торчали носки литых рыбацких сапог. И лицо у нее было как бы литое, с твердым мужским подбородком. Старуха укрепилась на крыльце, подняла к глазам тяжелую ладонь и так разглядывала меня, точно она была Илья Муромец, а я — хитрый и коварный татарин на горизонте. Собака поднялась и пересела точно в центр тропинки между старухой и мной, как бы уважая хозяйку, но и не нарушая обычай гостеприимства. Лодочный мотор на реке затих, рябины шумно стряхнули воду с огненных листьев.

— Дак пришел, дак зачем под дождем мокнешь? — громко и ехидно спросила старуха.

Мне показалось, что уловил мгновенно мелькнувшую улыбку, и через эту улыбку как бы со стороны увидел и собаку, соблюдавшую дистанцию, и самого себя в обтертой лесной одежде, скрюченного под рюкзаком, но с щегольской офицерской сумкой, которая как бы удостоверяла мое непростое положение в этих самых лесах.

Старуха повернулась и так же тяжко ушла в избу. Я прошел следом.

В избе пахло печкой, рыбой и сухим деревом. Я сел на лавку. У здешних деревень есть одна особенность, которую вряд ли где в мире встретишь. Они всегда строились в лесу, но на реке и в близости моря. Поэтому повседневный обычай сплел воедино плуг крестьянина, топор лесоруба, рыбацкое знание сетей, прижимных и отгонных ветров, а также разный морской обиход. Вот и сейчас в поле зрения я видел картошку, сваленную для просушки в углу, груду сетей, из-за которых торчал заговорщический глаз прошмыгнувшей за мной собаки, два топора — один с финским прямым, другой с плотницким топорищем, — несколько стеклянных оплетенных шаров-поплавков и на стенке две раскрашенные увеличенные фотографии в рамках: бравые светлоглазые парни в морской форме, один в бескозырке, другой в офицерской фуражке с «крабом».

Собака затаилась в углу, лишь глаз ее доброжелательно поглядывал на меня. Старуха поставила на плиту керосинку, на керосинку чайник. Она двигалась, как монолит, с эдакой размашистой твердостью.

— Ты по делу пришел или так? — стоя ко мне спиной, спросила она.

— На острова требуется попасть. Где карбас можно достать?

— А ведь я, старая, правильно догадалась, — помолчав, сказала старуха. — Вначале думала: еще один за иконами рыщет. А икон-то нету. Уж самовары и то все увезли. Котелки старые, прости господи, забирают... Потом разглядела. Вид у тебя боевитой, глаз хмурой. Наверное, мыслю, на острова. Ведь иконы да острова, тем люди нашу деревню и знают. Тебя как зовут-то?

Я сказал.

— Карбаса-то сейчас все в Баб-губе. Пикша на яруса идет. У Андрея, слышал, трещал. Я сбегаю.

— Да не беспокойтесь, я сам.

— Я этот вопрос на ноги поставлю, — хмуро погрозилась она кому-то. — Меня ведь Студенткой зовут. Поди слышал, раз сразу ко мне стопы направил?

— Как Студенткой?

— А вот! — Она села на лавку, как бы приготовившись к долгой беседе, сидела она по-гвардейски прямо. — До войны-то Евдокия была. В войну Патриоткой прозвали. В газете портрет мой был: женщина-патриотка. Так бабы и звали. А теперь повадились студенты ездить. Вначале один, потом двое, а теперь нагрянут, да по полу негде ступить. Так и прозвали: Студентка. Я не спорю — обидного нет. Ты море-то знашь? Сплаваешь?

— Я больше в лесу, — усмехнулся я. — Да сплаваю как-нибудь.

— Прости, господи, старую Евдокию, — сердито сказала она.

Прошла в другую комнату, там зашуршал целлофан. Собака за сетями тихонечко взвизгнула.

— А то я не заметила, как ты прошмыгнул? А то меня, старую, кто омманет, — громко откликнулась Евдокия.

Собака еще взвизгнула и прижалась к дверям. Евдокия вышла в целлофановом мешке, в котором были прорезаны дырки для рук и для лица.

— Чисто буфетчица из окошка выглядываю, — объявила она. — Дождя не боюсь. Ты, милой, с керосинки глаз не своди. Я бегом. Если я пошла — все! — и с этими словами исчезла в дверях.

Вернулась она неожиданно быстро.

— Поставила вопрос, приняла решение. Будем мой карбас слущать. Как я неопытного тебя одного отпущу? Ведь люди осудят!

Я промолчал.

— Ведь три дня как карбас-то вытащила. Теперь снова слущать. Трудов-то пропало сколько. Не знала, что ты придешь, — по-бабьи пожаловалась она.

— Я заплачу.

— Дак ведь за порог взошел, дак в доме гость. Какие теперь деньги? Опять люди осудят. Нельзя! Вот какое решение: соберу плотик-два на дрова, бензин оправдаю. Мы лес-то на дрова не рубим, плавник на островах собираем да за карбасом плавим, — пояснила она.

— Я помогу. Вы одна, что ли, живете?

— Без малого девять десятков, как, конешно, одна. Мужа-то схоронила, сыновей в войну оплакала, внуков не успела нажить. Теперь вот студенты молодой голос дадут да табаком избу оживят — рада. Да ведь русски люди кругом, пропасть не дадут.

...Ночью радикулит мой, разогревшись в тепле, зверем прямо вцепился в поясницу. Я ворочался в мешке и тихонько вздыхал, чтобы не разбудить Евдокию. Я и не заметил, когда зажегся свет. Она вышла из горницы в длинной белой рубахе, массивная, точно оживший шкаф.

— У тебя, милой, не спина ли болит? — сонно спросила она.



— Спина-а.
— А чего молчишь? Я ведь днем увидела, что ты со спиной пришел. Вылезай из мешка-то.
— Да вы спите,— сказал я.— Дело привычное.
— Дак я спать, ты стонать? Хорошо ли, по-твоему, получится? Я ведь тебя сейчас вылечу.
— Не поможет,— сказал я.— Меня уж на всех курортах лечили.
— Поясница-то — наша болезнь, лесная. Я всех русских людей лечу. Им помогает, а тебе нет?
Она больше не говорила. Поставила лампу на стол, сунула в плиту несколько смолистых полешек. Огонь загудел сразу, тихо и грозно. Евдокия топала по избе, огромная тень ее металась по стенам. Она вышла в сени и бухнула на плиту тяжелый, заполненный опилками таз. За окном была тишина, какая бывает только в спящей деревне, и темнота настолько черная, что, казалось, в окнах не было стекол, был просто провал.
Когда от опилок густо пошел спиртовой и смолистый дух, Евдокия с маху грохнула таз на пол и придвинула стул.
— Садись! Суй ноги! — приказала она.
Я выбрался из мешка и сунул ноги в горячую древесную кашу. Их сразу охватило влагой и жаром.
— Не поможет,— сказал я.
— Молчи! Ты мыслей, мыслей болезнь гони. Из поясницы пойдет в ноги, из ног в опилки. Взамен кверху смола, здоровье побежит.
— Мыслью гнать. По методу йогов,— пошутил я.
— Ёги, поди, тоже русски люди. Дело знают,— не сморгнув глазом, ответила Евдокия.
Я сидел так, наверное, с полчаса. Опилки внизу не остывали, и я слышал, как тепло их действительно поднимается вверх и греет спину. Евдокия принесла мне длинные шерстяные носки. Вынула из шкапчика заткнутую бумажкой бутылку водки.
— Тебе выпить теперь надо, чтобы снутри согреть. Это уж мужики мое лечение дополнили. Да ведь помога-ат!
Она ушла в горницу, вернулась уже в платье, налила водку в стакан и с поклоном протянула мне.
— Выпей да выздоравливай, батюшка.—Монументальное лицо ее вдруг расплылось в таких материнских морщинках, что что-то сжало мне ребра, и я смог только через минуту сказать:
— Водки так водки. Помогло бы.
То ли от водки, то ли от нагретых ног жилка утихла, звон кончился, боль в пояснице лишь слабо поскуливала, было благостно, ясно. Евдокия, поскрипев в горнице кроватью, затихла. Я, лежа в мешке, досадуя, злясь, не мог все-таки отвязаться от того, что называл «интеллигентщиной». О доброте деревенских старух, о том, что вот спросить бы совет, «как жить» и действительно это выполнить. Мысли такие и разговорчики и литературу о величии крестьянской души я не любил. Все это стало нынешней модой и шло, по-моему, как отголосок давних переживаний русского барства, ничего общего с действительным уважением народа не имело. Я это чувствовал по себе, потому что, когда делил кров и хлеб с леспромхозовскими мужиками, все было проще, по-человечески. И в мыслях ведь не было, что я могу нашей секретарше Леночке привезти в подарок лапти. А ведь привез в позапрошлом году. Именно я. Последними мыслями было: острова... диссертация... Никитенко...

...День выдался погожий и тихий. Наверное, он отстал где-то от бабьего лета и теперь нагонял своих. Мы спустили на воду ветхий карбас. С воды изба казалась вовсе старенькой, покосившейся набок.
— Келья-то у меня худа, карбас-то старенький,— сказала Евдокия, погружая в лодку веревки, костыли для плота и зачем-то тяжелый таз.— Доживу—и развалится.
...Вода в реке была черной, осенней и тихой. Океан находился рядом, и река исчерпала себя. Под неторопливый стук мотора мы тихонько плыли вниз. Собака свернулась калачиком на носу лодки, я сидел посредине, Евдокия держала руль. Солнце беспощадно просвечивало морщины, и в лице ее было больше монументальной мужицкой твердости, даже больше, чем тогда на крыльце. Она же, как бы в противовес моим мыслям, посмеялась, прикрыв рот ладонью.
— Маленько-то я тебя омманула. Как услышала, костром от тебя пахнет, сил нет на острова захотелось. Ведь мы там рыбачим! Сколько лет, сколько весен... Летом-то лось с одного острова к другому плывет. Ну плыви, плыви. Медведь плывет. Плыви-и. А он выйдет да еще около карбаса пройдет туда-сюда. «Уходи!» — крикнешь. Слушается. Знает, если я скажу,— все!
Острова торчали над поверхностью моря, как подушечки пальцев гигантской гранитной ладони. Лес на некоторых из них действительно рос. Но человек, рассказавший мне об этих соснах среди моря, не был лесным инженером, и потому информация его, пожалуй, больше отражала состояние души, чем действительные размеры сосен.
Все это я понял еще издали. Мы стали собирать плавник.
Ободранные морем гладкие и тяжелые стволы белой полосой тянулись по черте осенних штормов. Я носил деревья и сбрасывал их в воду, а Евдокия, подтянув голенища рыбацких сапог, подоткнув юбку, размашисто вгоняла в них костыли, крепила веревкой. Работа как-то оживила ее, и Евдокия, разогнувшись, кричала мне на берег:
— Молода-то я была здоровà-а! Строевой лес носила. Веришь?
К ночи мы собрали два хороших плота. Евдокия умело счалила их и, устало загребая по мелководью, буксиром потянула в соседнюю бухточку — вдруг ночью сменится ветер.
Странная была эта картина: закат, белая, как жесть, равнина моря с красными отблесками на горизонте, согнувшаяся в буксирной лямке Евдокия, и за ней покорно тащились плоты.
Ночь была ясная. Мы сварили в котелке соленой трески — излюбленной здешней пищи, и я, умаявшись с плавником, быстро заснул. Звон и биение жилки не возобновлялись, а может, и совсем оставили меня, когда я увидел на островах обычный лес, к которому незачем было ехать. Как-то пусто и обыденно прошел конец научной карьеры.
Проснулся я неожиданно. Евдокия сидела у костра и молча раскачивалась. Лешачьи тени от огня прыгали по ее лицу, огромная была фигура, огромны ладони на коленях и огромны ступни, которые почему-то она держала в тазу, который утром еще положила в карбас.
И, еще полусонный, я вдруг понял, что все-таки мне суждено услышать от этой странной старухи необходимую истину жизни (втайне я все-таки этого ждал) и я услышу это сейчас.
— Ноги-то у меня болят, хоть отруби да на дерево повесь, — по-детски жалобно произнесла Евдокия.— Я ведь почему в море стремлюсь. В морской-то рассол поставишь, так отпуска-ат. Врач говорит, мазь мне надо из пчелиного и змеиного яда. Иностранная мазь, где я, неграмотная, ее возьму?
— Бывает в аптеках.
— А то! Студенты-то в город зовут. «Бабушка, по-

едем». А я им про мазь молчу. Зачем старостью да болестью ихнее веселье портить! Но ведь грешна! Люблю чай. Студенты-то чай привезут, дак спрячу. Им заварю, какой в нашем сельпо продают. Ну, чисто жадина! Ведь пачки-то одинаковы, а мне городской слаще.

Море лежало совершенно беззвучно, луна заливала берег светом, и за спиной тихо-мирно пошумливали сосны.

В каком-то диком приступе той самой «интеллигентщины» я вдруг сказал:

— Поставить бы здесь избу. И жить бы сто лет.

— А была,— равнодушно ответила Евдокия.— На том месте костер жжем. Неуж не заметил? Позапрошлом годе еще стояла.

— Вывезли?

— Сожгли русски люди. Пьяны напились да сожгли для потехи. Ничья была. Для всех. Летом-то ведь здесь большая дорога. И на лодках, и на байдарках, и всяко...

— Э-эх! — Я ругнулся.—Забором, что ли, леса огородить. Охрану поставить с оружием?

— Лес-то один не может стоять,— ровным голосом произнесла Евдокия.— Кто-нибудь должен по нему ходить, курлыкать. Петь да перекликаться. Без голосу лес-то засохнет, умрет.

Вот так. Все-таки как ни иронизировал я, как ни оберегался, но получил простодушный народный совет и мог в соответствующем случае произнести: «В одной дальней деревне девяностолетняя бабка сказала мне...»

Но как бы там ни было, эти звоны, и жилки, и страх сумасшествия — все это поблекло перед простой истиной: кто-то должен курлыкать в лесу. Без этого лес не может стоять. Почему в принципе курлыкать должен не я, а другие?

...Ровно через пять дней после того, как уехали лаборанты, я тоже сел в поезд и помчался к югу...

...Обстановка в институте была нехорошая, но это уже не имело значения. Вдобавок ушла жена. Это тоже было уже все равно, давно между нами стало ясно, что ей ни к чему неудачник. Я написал письмо в один дальний лесопитомник, где меня знали. Написал заявление об уходе и в ожидании ответа спрятал его в ящик стола на работе. А пока стал приводить в порядок собранные за семь лет материалы. Зря, что ли, курлыкали мы в мокрых ельниках? Кому-нибудь пригодится.

Жил я очень размеренно, часов до девяти вечера сидел на работе, дома варил суп из пакетика и ложился спать. Иногда заходил в кино и с огромным, даже странным вниманием смотрел любой фильм, какой подвернется.

Но вскоре опять начались странности. За графиками и таблицами я усмотрел небольшую, но дельную статью. Так сказать, напоследок. Потом она незаметно выросла в большую статью. И вдруг я почти с ужасом увидел в ней диссертацию. Как раз пришел ответ из лесопитомника. Место обещали весной. Я механически отнес заявление в приемную Г. П. Никитенко. Секретарша сидела с марлевой повязкой. Это ей я привозил лапти.

— Что с вами?— осведомился я.

— С луны? — сквозь повязку спросила она.— Гонконгский грипп, весь город болеет.

Я ужасно испугался гриппа: тогда я не успею закончить работу, никак мне нельзя было болеть. Помчался в аптеку и увидел вереницы людей у окошек. Действительно, весь город болел. У прилавков со штучными лекарствами не было никого, и на стекле сиротливо лежали ненужные никому тюбики с мазью из пчелиного и змеиного яда. В постыдном раскаянии я схватил их, и уж дальше больше — помчался в главный гастроном, набрал пачек с чаем и помчался на почту. И лишь тут выяснил, что не знаю фамилии. Так и написал на адресе «бабушке Евдокии». Уговорил. Взяли.

События же вышли из-под моего контроля. Почему-то я миновал очередь на предварительную защиту, и Г. П. Никитенко сказал на ней: «Мы имеем пример скрупулезного сбора фактов без скороспелых, однако, выводов». После этого окончательная защита превращалась в формальность.

Пришло письмо от Евдокии. «...Пролила слезы. Ведь не стала просить, думала, забудешь. А не забыл! Вот плачу и плачу. Ты не обижайся, я об тебе думала много. Работа у тебя, наверное, почетистая, но глаз у тебя нехороший. Вроде сердцем начал грубеть. Ты не грубей. Как оно огрубеет, дак тяжело жить. Я знаю. Кругом русски люди, перед кем возноситься?..»

Я тоже смахнул что-то вроде слезы и твердым шагом пошел к Г. П. Никитенко. Напомнил о заявлении. Надо отдать ему должное, он не стал меня ни одобрять, ни уговаривать остаться. Только глянул из-за очков, точно сфотографировал изнутри, и зачем-то пожал мне руку мягкой ладонью. Через день на ученом совете с представителем министерства я услышал, что являю собой пример воспитания научных кадров. Бывалый производственник идет в институт, оформляет накопленный опыт в диссертацию и снова возвращается на любимое производство, ради которого все мы действуем и живем.

Еще через день у меня на квартире раздался звонок. Представитель ведомственной газеты с поручением написать обо мне развернутый очерк: «Портрет ученого-инженера». Это было уже лишнее. В дальних леспромхозах и лесопитомниках не любят газетной славы. Но оказалось, очерк уже готов, только не хватало деталей. Кстати, ни слова в нем не было о моем возвращении на производство. Позвонили с работы. Поздравили с тем, что я «попал в самую популярку», и какие-то слова о командировке в Австралию для ознакомления с эвкалиптами. Не успел я разделаться с журналистом, снова звонок в дверь — телеграмма, жена возвращается. Хотите верьте, хотите нет. Я взял веник — в квартире за зиму ни разу не подметалось. Прибираюсь. Мысли у меня о тягостных разговорах с женой. Снова о том, как не быть олухом в середине XX века. Раз жена возвращается — значит, это точно насчет Австралии. Она всегда все обо мне знала лучше меня. Евдокия этот вопрос решила бы так: «В Австралии, поди, тоже русски люди живут. Лес тоже кверху растет. Чего не поехать?»

Слаб человек. Так где взять силу души, чтобы на старости лет получить кличку Студента? Таким, как я, не дано это. И надо ли?

И вот завершающая картинка: я, кандидат наук запоздалой выпечки, шаркаю веником среди случайно купленной мебели, случайно собранных книг в холостяцком разоре, жилка в левой половине головы вроде бы собирается ожить, а я думаю о том, что австралийские эвкалипты не будут давить на меня объединенным биопотенциалом, я для них человек случайный, пришлый, чужой, нет у них со мной ни прошлых, ни будущих счетов, нет претензий, которые, в идеале, может предъявить ко мне каждое дерево от Балтики до Тихого океана, смешно все это, конечно, и еще я думаю, как бы отнеслись австралийские деревья к появлению моей жены или любой из ее подружек. Дело в том, что я отношу себя к той нации и тому государству, к которому относится Евдокия. Но к какой нации и стране принадлежит моя жена и подружки ее, я иногда, честное слово, не знаю.

устремляясь в гибельные выси...

Памяти Михаила Хергиани

Около пятнадцати лет тому назад главным общественным транспортом на окраинах государства были маленькие зеленые автобусы с расположенной впереди дверцей. Дверь эту водитель открывал длинным сверкающим рычагом.

Такие, всегда насмерть разбитые колымаги перевозили разнообразное население по памирским кручам, зимникам Чукотки, трассам таежных золотых приисков и прочим невероятным дорогам. Они и сейчас где-нибудь догромыхивают свой век среди «икарусов», маршрутных такси и дизельных мастодонтов с креслицами в белых чехлах.

До сих пор, как наяву, я слышу скрип разбитого кузова, дребезжание ходовой части и вижу бессмертный блеск дверного рычага, который, я уверен, сверкает, даже когда автобус везут на свалку. Хотя трудно представить себе этот автобус просто на свалке. Наверное, он гибнет, как ездовая собака: в упряжке.



Случилось так, что в первый свой «настоящий», полугодовой отпуск, полагавшийся после трех лет работы на Севере, я ехал именно на таком, хорошо знакомом по Северу доходяге. Впереди была не работа, а высокая гора Эльбрус, горные лыжи и солнце. Но я никак не мог отделаться от мысли о том, что делаю что-то не так. Мне казалось тогда, что к прославленным в почтовых открытках местам надо ехать иначе. Шикарнее, что ли...

Автобус катил по предгорной равнине. Небо казалось белесоватым от старости, а степь — темной, потому, что овцы съели траву. Изредка виднелись и сами овцы. Они двигались куда-то на север в сопровождении чабанов, похожих в своих башлыках на поджилых коршунов. На завалинках около станичных магазинов сидели старики в плоских барашковых шапках и провожали автобус выцветшими, как небо над их головой, глазами.

Весь день впереди маячили горы. Издали снеговые вершины казались величественными до неправдоподобия. Вид их, можно сказать, потрясал. Особенно, если учесть, что ты родился и большую часть сознательной жизни провел на равнине, а с горами сталкивался случайно, как, допустим, в метро сталкиваешься со знаменитой актрисой.

Вид гор наводил на «вечные» мысли. Я вспомнил об одном древнем персе-огнепоклоннике. Тьму веков тому назад он родился на пыльных равнинах Ирана, а когда пришла пора поразмыслить, то он ушел в горы. «В горах сердце его преобразовалось»,— так антинаучно утверждает легенда.

В горах сердце его преобразовалось...

Сейчас, накопив кое-какой опыт общения с разным народом, я со всей ответственностью могу утверждать, что существуют люди, сердце которых от рождения преобразовано к высшей цели. Среди коловращения имен, лиц и событий они входят в твою память с точностью патрона, досланного в патронник. Как раз из таких и был Михаил Хергиани.

Ах, каким же красавцем он возник перед нашим смешанным обществом, состоявшим из двух физиков, изучавших несерьезную материю облаков, одной аспирантки, изучавшей математику, одного геолога, отпускника с Севера, изучавшего человечество (то был я), и младенца по имени Димка, изучавшего мир из своей коляски.

Мы размещались под ореховым деревом, дерево же росло внутри ограды, окружавшей территорию института с высокогорным названием, а было все это в южном городе Нальчике. Почва вокруг дерева была утоптана представителями разных наук. Альпинист Хергиани находился здесь, потому что работал в том институте инструктором альпинизма и горноспасателем.

Он появился, как цветное рекламное фото: лицо коричневое, свитер ярко-красный, брюки голубые. Черными были только усы и ботинки. На другом человеке все это выглядело бы излишне ярко или даже смешно, но ему было в самый раз, потому что он распространял вокруг себя эманацию физического здоровья и сдержанного достоинства. Он был одним из ведущих альпинистов мира и в 1960 году блестяще преодолел труднейшие скальные маршруты в Англии вместе с теми самыми англичанами, что когда-то изобрели альпинизм как спорт и знали шотландские скалы лучше собственных пяток. Кстати, потрясающий этот свитер (тоже согласно легенде) ему подарила одна англичанка, которая вначале была влюблена в скалолазание и альпинизм, а потом, естественно, в Мишу. Думается, что ту англичанку можно понять.

Прошло пятнадцать лет, но я помню тот день во всех его подробностях: и очень синее небо, и темную кору орехового дерева, и немногословный такой разговор, когда даже младенец Димка вел себя с чувством собственного достоинства.

В эмоциональном плане альпинизм сводился для меня к тощеньким книжечкам техники безопасности, которые начинались со слов «человек является ценнейшим достоянием». Было, впрочем, еще одно воспоминание. Мы работали в Киргизии на Таласском хребте. В одном маршруте я увидел, как тренируются фрунзенские альпинисты во всеоружии сверкающих триконей, карабинов, веревок и ледорубов, а мимо шлепал в маршрут Мика Балашов в резиновых сапогах и с геологическим молотком на обло-

манной ручке. Вот и сейчас меня мучает вопрос, почему он в горный маршрут ходил в резиновых сапогах? Мика Балашов был серьезным парнем и хорошим геологом, не из тех, что исповедуют принцип «умный в гору не пойдет». И пижоном его назвать было никак невозможно.

Меж тем за заборчиком института появились пестрые молодые люди и стали шептать страшными голосами: «Миш-ша! Послушай минутку, Миш-ша!» Они шептали и кивали в неизвестную манящую даль, где поблизости стояла машина, а дальше пряталось что-то уж совсем интересное. Хергиани извинился и пошел к ним. Молодые люди выпрямились и сразу стали очень мужчинами. Конечно, они были пижоны, а таких тянет к великим не изученная наукой сила. Может быть, они заимствуют часть силы великих людей, не знаю.

На другой день я сел в зеленый автобус, чтобы ехать в поселок под Эльбрусом, где люди катаются на горных лыжах. И весь день приближались горы. Здесь я должен дать пояснение. Я старался как можно меньше поддаваться эмоциональному воздействию гор, потому что наши ребята, те ребята, с которыми мы молились единым богам, мотались в тот момент на маленьком самолете АН-2 севернее Новосибирских островов, где есть точечки островов Де-Лонга: остров Жаннетты, остров Генриетты и остров Жохова тоже там есть. Большинство жизненных проблем в те годы мы решали с простотой игры в шашки. Человечество делилось на «людей» и «пижонов», а география — на области, где жили «люди», а где «пижоны». Само собой разумеется, что «люди» жили севернее Полярного круга.

В тот солнечный день я ощутил первую трещину в нашей шашечной концепции мира. Сверкающие вершины все приближались, и вдоль дороги взметнулись сосны. Стволы, их хвоя казались отлитыми из тяжких металлов, а горы были теперь невесомыми, вроде чистой мечты.

Именно чистой, потому что обычно мечта все-таки имеет свой вес. Было ощущение, что в горах так же должны жить «люди». Не могут не жить в таком окружении.

...Комната, которую мне дали, оказалась очень хорошей. В окно лезла сосна, за сосной торчал пик Донгуз-Орун с ледяной шапкой на нем. Вершина ледника была розовой, а отвесная теневая стенка — темно-зеленой. Было тихо и грустно. Я вышел на крыльцо. Прошла шумная кучка туристов в мешковатых штормовках. «Альпинизм — лучший отдых» — возвещал подпорченный дождями плакат. В сторонке сидел на камне невероятной черноты парень и пел популярную песню: «Чем дальше в горы, пиво тем дороже, а мы без пива жить никак не можем».

Вечером приехал Хергиани. Видно, в горах и предгорьях он был вездесущ. Комната у него была рядом с моей. Стенки ее были увешаны орографическими схемами Гималаев. Гора Джомолунгма была обведена на схеме красным кружком. В ту пору легендарное восхождение Тенцинга и Хиллари уже состоялось и великолепная книга Тенцинга «Тигр снегов» уже была переведена на русский язык. Готовилась русская экспедиция на Джомолунгму, и, конечно, Хергиани числился в ее списках под номером первым. Карты всякого рода были с детства моим увлечением, а потом превратились в профессию. В тот вечер мы долго рассматривали линии горных хребтов с манящими, как сказка, названиями.

В этих разговорах у карты у меня сложилась личная концепция альпинизма. В основе своей эта концепция имела нестандартный взгляд Хергиани, где поровну смешивалась ребячья тоска по игрушке и



умудренность философа, понявшего к старости лет невозможность познать до конца даже простые вещи. Но об этом чуть дальше.

Трасса здесь открылась недавно, и горнолыжник был скромный. После недавних соревнований осталось несколько мастеров, отрабатывавших скоростной спуск, и еще была серая масса, которая маялась на непослушных склонах, а чаще стояла, задрав голову к солнцу, как новомодные, в темных очках, солнцепоклонники.

Ежедневно около часа дня раздавался предупреждающий крик, махали палками, все выстраивались по бокам склона и смотрели вверх, откуда вылетали в свисте разорванного воздуха мастера. Шлем, темные очки и воздушный свист — до чего ж это было красиво! Если мастера и делали показуху, то настоящую.

Склон оживал, и солнцепоклонники с новой силой начинали утюжить его, надеясь хотя бы в мечтах приблизиться к непостижимой и рискованной красоте горнолыжного спуска. Здесь была своя шкала ценностей, иронизирующие же снобы сюда еще не добрались, предпочитая более легкие места для упражнений в иронии.

...На Север я укатил обогащенный принципом, который Миша Хергиани преподал мне, когда взялся учить горнолыжной технике. Принцип заключался в том, что когда склон крут и тебе страшно, надо еще больше падать на носки лыж, ломая страх,— и будет нормально. До сих пор не знаю, насколько правилен этот принцип с точки зрения горнолыжной техники, но мне он помог. Я не то, чтобы просто его

На снимках (стр. 30—31) — Михаил Хергиани.

запомнил, я включил его в сборник заповедей и увез с собой, когда возвращался из отпуска.

В бесснежных местах Арктики, где снег или выдут ветрами или спрессован в заструги, больше похожие на пластмассу, я часто вспоминал, как в горах сейчас снег идет крупными хлопьями, ветки сосен сгибаются под его тяжестью, стряхивают и потом качаются долго и облегченно. Говорят, что именно вид сосен, стряхивающих снег, натолкнул основателя борьбы дзю-до на принцип этой борьбы. «Поддаться, чтобы победить»..

Принципы, по которым жили в бесснежных местах Арктики, были другими. По тем принципам тебе прощалось все или многое, кроме дешевки в работе, трусости и жизненного слюнтяйства. Если же ты имел глупость это допустить, то автоматически становился вне общества, будь то на дружеской выпивке или в вечерней беседе о мироздании. В общем, «вперед и прямо». Ей-богу, остается удивляться лишь, как мы, будучи уже инженерами, ухитрялись сохранить чистоту и наивность семиклассника.

...В следующий раз я видел Хергиани через три года. Он изменился. Теперь уже не надо было думать о том, что этот человек не способен на показуху. В нем появилась твердость, которая приходит к мужчине, когда цель жизни ему точно известна и средства для ее достижения есть. Конечно, я читал «Советский спорт» и знал, что советская экспедиция на Джомолунгму не состоялась и вряд ли состоится в ближайшие годы. Знал я и о выступлении Хергиани за границей. Он и Иосиф Кахиани, неизменный напарник в связке, получили звание «тигров скал» и еще они стали членами «Ассоциации шерпов-альпинистов». Эта встреча была мимолетной, о чем я до сих пор жалею.

Прошло еще три года, и я насовсем уехал из Арктики. В Терсколе же все изменилось. Торчали здания стеклянных гостиниц с хорошими, как говорят, бытовыми условиями, работали два подъемника у подножия склона, на длинных шестах полоскались спортивные флаги, и репродуктор хрипел фамилиями и цифрами — шли соревнования. Всюду было шумно от транзисторной техники и очень пестро от разноцветной синтетики и яркого лака лыж. А люди на склонах теперь делились на две категории: «эт-ти туристы» и «мастера».

Миша Хергиани погиб очень далеко отсюда — в итальянских Доломитовых Альпах. Об этом достаточно много писали газеты. Я все пытался выяснить, как и почему он погиб. Ей-богу, это было необходимо. Необходим был последний штрих, чтобы получился вывод, не ясный в то время еще мне самому. Ибо жизнь спустя десять лет из упрощенной, черно-белой шашечной плоскости перешла в более расплывчатые и сложные категории.

Никто мне не мог толком на это ответить. Наверное, потому, что вопросы мои были невнятны.

То, что он выбрал сложнейший скальный маршрут,— так на то он и был Хергиани. И то, что был камнепад, перебивший страховочную веревку,— так это случайность, от которой не гарантирован ни один человек, и альпинист особенно. Люди, с веранды альпинистского отеля следившие за восхождением, видели, как падал вниз один из лучших альпинистов планеты, всю жизнь стремившийся вверх. Ничего они не могли сделать.

Еще проявило потрясающую оперативность итальянское телевидение, сообщившее о гибели «знаменитого Хергиани» чуть ли не в тот момент, когда тело его упало с высоты шестисот метров.

Похоронили его в Сванетии. И «вся Сванетия», как говорят очевидцы, собралась, чтобы почтить память «тигра скал».

Осталась вершина имени Михаила Хергиани, приз скалолазов его имени и мемориальная доска в одном из альплагерей.

На этом я кончу заупокойные перечисления. В памяти у меня он остался таким, как десять лет назад: очень знаменитый и яркий, со странным взглядом, где смешивались печаль и ребячий азарт.

...И все-таки был высший смысл. Встречаясь с людьми, которые знали его гораздо лучше меня, потому что вместе делили досуг и опасность, я столкнулся с тем, что не так уж часто бывает. Никто не кричал «я был его другом», никто не примазывался к его славе. Люди держали память о нем бережно, как держат в ладони трепетного живого птенца.

Наверное, альпинизм нельзя считать спортом в чистом его виде. В нем есть элемент риска, который очищает души людей, и есть тот самый «момент истины», о котором писал Хемингуэй. Наверное, альпинизм больше сходен с человеческой жизнью вообще, чем со спортом, если, конечно, речь идет о том случае, когда человек решил жизнь прожить, а не прожечь, или, что еще хуже, просуществовать. В горах преобразовалось его сердце...

...В этом году я поздно приехал в Терскол, а весна была ранней. И как-то в один из дней, когда солнце было чересчур ярким и очень громко вопил чей-то магнитофон, я не стал надевать лыжи, не стал в очередь к подъемнику, а просто так поднялся на то место, где Миша Хергиани учил когда-то наивного суперполярника падать на носки лыж и тем самым ломать страх. Победить, не поддаваясь. Это был как бы его личный подарок мне.

Здесь было тихо, стояли сосны. И я явственно услышал, как замкнулся круг времени, как мы закрываем дверь, переходя из одной комнаты в другую. Был высший смысл, был «момент истины». Горы будут горами, сколько их ни глянцуй на открытках, и, в каких бы неожиданных сочетаниях ни шло коловращение лиц и имен, где-то среди этих лиц попадутся бывшие или теперешние самолюбивые мальчики, которым снятся гибельные выси и которым суждено стать знаменитыми. За Полярным кругом работают другие двадцатипятилетние, а те, с кем молились единым богам, сейчас уже обрастают учеными степенями и должностями. Прислонившись к теплой от солнца сосне, я верил, что должности, звания и комфорт не погасят в нас священный огонь, горевший во времена, когда мир казался нам сосредоточенным за Полярным кругом.

Я пошел к Иосифу, члену знаменитого тандема Кахиани — Хергиани, или Хергиани — Кахиани, как будет угодно читателю. Иосиф Кахиани, этот второй член «Ассоциации шерпов-альпинистов», поздоровался со мной очень торжественно, по принятому у нас шутливому ритуалу. Ритуал этот мы взяли из писем, которые пишут старому мудрому Иосифу один английский лорд и одна известная альпинистка Великобритании. Иосиф поставил чайник, и мы в сотый раз стали обсуждать, как осенью поедем на кабанов и что для этого надо иметь.

...О Мише Хергиани Иосиф говорит редко. Иосиф был действительно его другом, старшим по возрасту и опыту, и, наверное, не может простить, что его не было тогда в Доломитовых Альпах, ибо его опыт и нюх солдата всегда вовремя сдерживали экспансивного Хергиани. И вообще Иосиф предпочитал вспоминать разные смешные истории, которые с ними случались дома и за рубежом. Только однажды он добавил в перечисление того, что Миша оставил, людей, которых спас Хергиани. Их было много, кого спас или они спасли вместе с Иосифом.

Есть фотография, на которой стоят два человека: Тенцинг и Хергиани. Где-то на заднем фоне — гора

Эльбрус. Фотографию эту многие знают, но не все знают, что когда Тенцинг был гостем в Советском Союзе и они поднимались на Эльбрус. Миша ночью поднялся по склону высочайшей вершины Европы и вырубил на леднике гигантские буквы «Добро пожаловать, Тенцинг». Наверное, и сам Тенцинг не знает этого, потому что ночью пошел снег и все завалил.

Еще одна фотография висит у меня дома. На ней очень парадный, при полном наборе военных и спортивных наград, Иосиф Кахиани. Я всегда улыбаюсь, когда смотрю на нее, потому что знаю: за всем этим парадом, блеском, медалями этими — просто мудрый и насмешливый Иосиф, и даже блеск стекла не может скрыть лукавой доброты этого человека. Такая доброта свойственна только людям, часто видящим смерть и потому лучше других знающим цену суете, мишуре — всему, что в начале рассказа я по-жаргонному назвал показухой. Еще лучше меня это чувствуют дети, которые льнут к Иосифу Кахиани, наверное, потому, что в их крохотных сердцах заложены будущие сердца мужчин.

Еще я не могу без улыбки смотреть на эту фотографию потому, что вспоминаю обязательно случай, свидетелем которого недавно я был. Мы поднялись с Иосифом Кахиани на Чегет. Группа из дома отдыха, в тяжких пальто и шапках, внимательно слушала экскурсовода, который показывал им страшную отвесную стену горы Донгуз-Орун и рассказывал, как два знаменитых альпиниста Хергиани и Кахиани совершили восхождение именно по этой отвесной стене.

— Толщина ледяной шапки шестьдесят метров, уклон отрицательный,— объяснял экскурсовод.

Женщины тихо ахали, мужчины делали каменное лицо. Иосиф подошел поближе, ему было интересно послушать о себе самом.

— Из нашей группы? — шепотом спросило Иосифа ратиновое пальто.

— Нет,— замялся Иосиф.

— Тогда топай к своей группе, нечего тут примазываться.

— Послушать интересно,— смиренно сказал Иосиф.

— Всем интересно. Но тебе, дед, это уже ни к чему. Топай к своим гипертоникам. Поднимают тут всяких!.. Горы есть горы. Тут всяким нечего делать.— Пальто отвернулось за голосом экскурсовода, как подсолнух за солнцем. Теперь им рассказывали про Эльбрус.

Не знаю, может, в этом и есть слава, когда человеку подробно объясняют, что он сам совершил, ибо свершенное уже начинает существовать самостоятельно и отдельно. А может, в том, когда люди держат о тебе память бережно, как живого птенца, или в том, что ты входишь в память случайно встреченных, как точно подогнанный каменный блок. В теперешнем цикле развития я все еще верю в урок Хергиани: падать прямо в опасность, ломая страх и тем самым — себя. Но истинно это или нет, я не могу сказать. Просто верю.

Была еще завершающая точка. В тот день, когда я уезжал из Терскола, здесь открывался международный симпозиум физиков-ядерщиков. По шоссе, к научному центру МГУ, проносились шикарные автобусы «Интуриста». Я стоял у обочины и думал о том, как бы пристроиться на один из них, чтобы с комфортом и быстро докатить до Минвод. Но автобусы все проносились и проносились в мягком клокотании мощных моторов. И вдруг сзади я услышал скрип тормоза и какой-то очень знакомый лязг. Я оглянулся и увидел бессмертный зеленый автобус с гостеприимно открытой дверцей. Лицо шофера было знакомым, но я не мог точно вспомнить его.

— Уезжаешь? — спросил он.— Садись.

И мы неспешно покатили вниз. Автобус на ходу раскачивался и жизнерадостно дребезжал, точно рассказывал анекдоты из длинной дорожной жизни.

ОТ РЕДАКЦИИ

Вот судьба! Эти рассказы «Юность» получила за два дня до смерти Олега Куваева, хорошего русского писателя, только что начинавшего набирать в литературе большую силу. Они пришли к нам с письмом, где Олег Куваев — человек, который на своем коротком веку немало попутешествовал по советской земле,— делился своей заветной мечтой: уже не как географ, не как геолог, а как писатель (на этот раз с путевкой «Юности») снова постранствовать по любимому им Северу, где, как ему казалось, и не без основания казалось, «особенно видны приметы нашего бурного, нелегкого творческого века».

В письме своем он извещал редакцию, что пишет для нас повесть. А к письму прилагал проект затеянной им литературной экспедиции на яхте под названием «Юность» вдоль известного уже ему северного побережья страны.

Все было: и мечты дать серию новелл на темы задуманной экспедиции (интереснейшая могла бы получиться серия), и расчеты, и маршрут, и даже смета на постройку этого судна.

Пересылая нам рассказы, Куваев писал, и это тоже для него как человека и литератора характерно: «...Скидки на «симпатичность» автора, на значительность темы могут быть для меня и вредны. Таков, так сказать, «юношеский максимализм» сорокалетнего мужика».

Олег Куваев был реалист в лучшем смысле этого слова. Он не хотел плыть на парусах конъюнктуры и требовал строгого, но справедливого отношения к себе и своему творчеству.

Увы, и обещанную им повесть читатель уже не прочтет и суденышко с поэтическим названием «Юность» не отправится в интереснейший рейс.

Ну что же, мы последовали совету автора и из трех рассказов рекомендуем читателям два. Мы публикуем их, выражая огромное сожаление о том, что незаурядный его талант оборвался в дни своего настоящего расцвета.

Татьяна Кузовлева





✪

Теплый дождь — июльская услада.
Облако. Порыв. Голубизна.
В глубине запущенного сада
Песенка щемящая слышна.
Голос, отделившись от пластинки,
Властно заполняет тишину.
Невесомо сохнут паутинки,
Тень скользит по белому окну.
Голос хриплый, радостный, разбитый.
Диска ощутимый поворот.
Это он — безудержный, забытый,
Довоенный мчащийся фокстрот.
Дачный дом затих, припоминая
Туфель парусиновых полет.
Летних платьев солнечная стая
На поляну вырвется вот-вот.
Словно снимки старые, слепые,
Сжатые в слабеющей руке:
Мать с отцом, такие молодые,
Кружатся вдвоем в березняке.
Свет уходит меж стволов куда-то,
Тени и летящи и длинны.
Лист томится близостью заката.
Есть тревога. Нет еще войны.
Нет еще того, что отгремело—
А ведь отгремело тридцать лет...
И крыло у птицы побелело.
А ведь было — вóроновый цвет!
А ведь пел певец, смеясь капризно,
Задыхаясь, путая слова.
Ах, какие позатихли жизни!
Песенка, а как же ты жива!
Как же ты: нелепая, смешная!
Жгучей страсти томное лицо.
Мать с отцом, о чем-то вспоминая,
Загрустили, выйдя на крыльцо.
Березняк молчит в оцепененье.
Облако. Порыв. Голубизна.
Я варю вишневое варенье.
Дети пробегают у окна.

✪

Земля просыпалась неспешно,
И снег отступал перед ней.
И капли прозрачно и нежно
Свисали с тончайших ветвей.
И глядя красиво и длинно
На луч, трепетавший у ног,
Хозяйская девушка Нина
Купала в воде сапожок.
Румяной и светловолосой
Ей нравилось землю любить.
И тень ее с тенью березы
Могла перекрещенной быть.

✪

Я не смею в сны твои проникнуть,
Прикоснусь, едва ли не сгубя.
Ни войти в них, ни тебя окликнуть,
Ни спасти, ни заслонить тебя.
В той стране, где все на явь похоже,
Где зеркально жизнь отражена,
Жестче, неприкаянней и строже
Музыка шагов твоих слышна.
И такой, каким и мне неведом,
Ты идешь вдоль яркого огня.
Женщина твоя проходит следом,
Вовсе не похожа на меня.
Мир встает тяжелыми углами,—
Длится недосказанности гнет.
Высказаться — словно сбросить камень:
Только эхо вскрикнет и умрет.
Все, чему положено случиться,
Все, что резко отгоняешь днем,
Каждой ночью
Снится,
Снится,
Снится,
Захлестнув непрошеным огнем.
И легко превозмогая разум,
Отвергая веру в колдовство,
Волны сна захлестывают разом
Глубину сознанья твоего.
И проснуться, как назад вернуться.
Утро. Отчужденье. Земля.
Может, где-то и соприкоснутся
Наших снов бескрайние поля.
Ни узнать друг друга, ни окликнуть.
Время смещено: секунда! год!
Я не смею в сны твои проникнуть.
В них другая женщина живет.

✪

О мое неуклюжее чадо,
Покоренное сельским крыльцом!
Так играют щенки и волчата:
В снег с разбега и в небо лицом.
Только детям грохочущих улиц
Эта редкая радость дана.
Как деревья под снегом согнулись,
Как синицы снуют у окна.
Как, готовые к ласке и драке,
Чуя зуд в пропотевших боках,
По-весеннему скачут собаки.
Утопая по брюхо в снегах.
Но дневные окончатся сроки,
Но изба потемнеет с угла,
Но крыло запоздавшей сороки
На мгновенье мелькнет у стекла.
И звезда затеряется в соснах,
И, мороз пронося на весу,
Запоет остывающий воздух
В непроглядном высоком лесу.
И под песню неспешную эту,
Разметавшись при свете огня,
Разрумянена, полуодета,
Ты заснешь на руках у меня.
И, тебя отдавая постели
Из расслабленных тающих рук,
Я застыну: смирить ли метели,
Удержать ли беспечности круг!

Маро Маркарян





Перевел
с армянского
Д. САМОЙЛОВ

✪

Меня не слышишь ты,
Не слышишь ты сейчас
Молчанья,
Доброты,
Моих летучих фраз.

Заговорю с тобой
С неведомой планеты.
Запечатлеет речь
Рассеянный эфир.
И вихревой туман,
Что заполняет мир,
Затихнет, замолчит,
Догадкою согретый.

Весь в звездных письменах,
Осколочек кометы
В твою вдруг постучится в дверь.
Но не поймешь ты весть
Тогда, как и теперь.

✪

Придет весна,
Деревья зацветут,
И будет горячей
И справедливей солнце,
Тогда вплывет в твое оконце
Невидимый кораблик
Из лучей.

Его ты не увидишь,
Не услышишь,
Но вдруг печаль
Проймет все существо.
И сердце,
Сжавшись,
Позовет кого-то,
Но голос не дойдет
Ни до кого.

Деревья зацветут,
Придет весна,
И солнце будет
Справедливей, горячей.
И тихая,
Неясная тревога
Отчалит вдруг
От твоего окна,
Как маленький кораблик
Из лучей.

✪

Кто знает,
Может быть, все это
Написано на воздухе
Дыханьем,
Тончайшим колебанием
Печали
И радости,
Светящимся мерцаньем...
И то, что слуху
Может только мниться,
И то, чего не отмечает
Зренье,
Написано
На солнечных страницах
Для будущего
Поколенья.

✪

Быть может, иногда,
Как звезды, мы блуждаем
В просторных и глубоких небесах,
И хоть на миг
Порою совладаем
С той из планет,
Что излучает свет,—
И лишь во сне
Все это понимаем.
И непонятна
Та печаль
В крови,
Поймать которой невозможно нить,
Тоска,
Которой ход несознаваем,
Которую себе
Не можем объяснить,
И оттого
Любовью
Называем.

✪

Ты придешь с другой планеты,
Когда этот мир покину.
И не станет
Лжи,
Измен
И хитросплетений.
Все равно
Заноет сердце —
Ты оглянешься в смятенье,
Не поняв,
Чего ты ищешь.
И мелькнет, подобно тени
Иль зарнице
Ночью мглистой,
Отзвук песни серебристой.
Где бы,
Чем бы ни была я,
Я почувствую, пылая,
Даже из другой вселенной
Боль души твоей
Смятенной.



Иван
КУПЦОВ

РЯДОМ С ХУДОЖНИКОМ

В центре мастерской стоял большой гипсовый бюст Маяковского.

Когда знаешь поэта хотя бы по фотографиям, невольно задумываешься: похож ли? Ваятелю удалось выразить характер — то индивидуальное, что, возникнув и вызрев однажды, потом уже не изменяло своему существу...

— Для нового московского музея, — пояснил белобородый скульптор, чья голова сразу же приковывает к себе взгляд не столько бородой и черной «академической» шапочкой, сколько чертами волевого лица и умными, мгновенно реагирующими на все глазами.

— Вы видели Маяковского?—спросил я Иосифа Чайкова. Он удивился, но, прикинув, что мне немного за тридцать, а речь идет о делах полувековой давности, ответил подробно, почти ласково, как мудрый взрослый разъясняет какую-нибудь очевидность «почемучке».

— Я был профессором и деканом ВХУТЕМАСа. К нам Маяковский заглядывал почти ежедневно. И среди педагогов и среди студентов у него имелись близкие знакомые, друзья, единомышленники. Он ведь и сам учился в этом здании напротив почтамта, еще в Училище живописи и ваяния. Я мечтал поставить его статую на строящемся здании театра Мейерхольда. Рядом с Всеволодом Эмильевичем, с артистами, с современниками...

В тот день в мастерской стояла недавно начатая композиция «Металлургия». Винтообразный постамент как бы вкручивал ее в окружающее пространство. На глазах распускался диковинный цветок века электроники и легированных сталей. В сердцевине ажурной конструкции возникали деловые фигуры рабочих, инженеров, ученых.

Мне вспомнился «Мостостроитель» Чайкова: его репродукция почти полвека назад обошла многие издания. И сейчас скульптор видит в социалистической индустрии здоровое воплощение человеческого разума и творчества.

В канун первой пятилетки была выполнена невысокая фигурка Трубача — и сегодня слышишь музыку того сурового и гордого времени Революции.

Одна из недавних работ маститого скульптора называется «У зеркала». Очарование жизнью, чувственная прелесть и чистота...

Иосиф Чайков вновь подошел к «Металлургии», всматриваясь в композицию глазами, сохранившими ко всему живой интерес и нетерпеливо заглядывающими в следующий век, в искусство будущего.

На полках — книги с рисунками Аминадава Моисеевича Каневского. Воочию предстают давние знакомцы: пушкинский Балда, персонажи Гоголя, Щедрина, Маяковского, А. Толстого. Поодаль — крынки. Так они еще и теперь сушатся на частоколах где-нибудь под Полтавой. Дорожная конторка с чернильницей. Такая, может быть, тряслась вместе с Чичиковым.

— Наверное, все в детстве рисуют,—рассказывает мне художник,— одни больше, другие меньше. В местности, где я родился, и слова такого не слыхали—«графика». Вот я глазами и обводил контуры лиц, фигур, разных вещиц. Очень они меня занимали, смешили, притягивали.

...Рассказ продолжается.

— С двенадцати лет пошел на службу. Ну, уж сами понимаете, какой я был работник, но на хлеб зарабатывал.

Революция, красноармейский полк. По его путевке Аминадав Каневский прибыл в Москву, во ВХУТЕМАС, учиться на художника.

Помнится один из первых студенческих рисунков—«Похороны». Гроб несут пионеры. В нем поллитровка. А сзади — рыдающая, рвущая волосы и рубахи, не находящая себе места толпа «родственников покойной».

Как-то в перерыве к длинному и худющему вхутемасовцу с глазами-угольками подошел знаменитый Моор. Дмитрий Стахеевич еще не преподавал в группе Каневского, но успел подметить дар младшекурсника. Сказал, что его рисунки ждут в известном тогда журнале «Безбожник». Кто ждет, почему ждут? Ждут! Ждут! В редакции люди серьезные. Не подводи.

И с тех пор по сегодняшний день непрерывные, постоянные зарисовки в альбомах. Натура, иллюстрации, карикатуры, масляная живопись, акварель, книги, журналы, выставки.

Среди бумаг художника хранится письмо Корнея Ивановича Чуковского: «Главное качество этих рисунков—монументальность. Этот базар, это море, эти сосны — какая здесь глубина и поэзия! Поп с дугами, поп без рясы, попадья, поповна, образ самого Балды—как хороша здесь каждая деталь, сколько здесь изобразительного юмора, какие прелестные краски, лаконический и сильный рисунок».

И вновь воспоминания. Каневский достает старую фотографию. На ней маститый, полноватый, оживленный Моор среди школьников-пионеров.

— Интересно слышать серьезные, взрослые суждения старшеклассников, видеть непосредственность малышей, которым нравится именно «этот», а не «тот» Колобок. С малышами не соскучишься. Помню, одна первоклашка, услышав, сколько мне лет,



И. ЧАЙКОВ. **Портрет В. В. Маяковского.** Гранит.

Из произведений мастеров советского изобразительного искусства.





Е. БЕЛАШОВА. **А. С. Пушкин.** Гипс.

Е. БЕЛАШОВА. **Пробуждение.** Мрамор.

спросила без запинки: «Аминадав Моисеевич, это вы нарисовали «Боярыню Морозову»? А другой мальчик, также без ошибок промолвив мои трудные имя и отчество, поинтересовался: «Значит, вы в восемнадцатом веке жили?». «А где вы Гоголя видели—в Москве или в Ленинграде?»...

Каневский вспоминает Маяковского, живого, близкого, понимающего, одинокого. Ему нравились рисунки Каневского к его стихам. Такое случалось редко. И он не скрывал своей радости.

А однажды позвонили из только что организованного журнала «Мурзилка».

— Нарисуйте, нужно срочно в номер. Ждем завтра утром.

— Кого?

— Как кого? Разве вы не знаете? Мурзилку, конечно.

— А что за вид у этого существа?

— Так вы же художник Каневский. Кому, как не вам, знать?

Нарисовал. Прижился Мурзилка и до сих пор живет. Вид у него подходящий.

Ее речь была образна, но отнюдь не витиевата. Пушкинские строки, афоризмы Белинского, высказывания Чехова входили в нее очень естественно.

На стене служебного кабинета Екатерины Федоровны Белашовой в особняке Союза художников на Гоголевском бульваре постоянно висел живописный автопортрет Сергея Васильевича Герасимова. Энергичный, искристый, мужественный, человечный.

— Он мне помогает,—призналась как-то в разговоре.—Хоть образом своим. Он да еще Сергей Тимофеевич Коненков.

Для Коненкова Белашова была и другом — Катюшей. И крупным мастером русской скульптуры.

В одном интервью я стал спрашивать Белашову о личности, о субъективном в искусстве.

— Ни одна индивидуальность не определяет собой всецело всю эпоху,— ответила она.—Но нам, каждому из художников, не грех именно поэтому почаще спрашивать себя: кто мы такие, откуда и куда идем. Надо честно видеть и сознавать свой труд в процессе мирового развития, воспитывать в себе человека, не умерщвлять художника. Когда-то Щедрин говорил о суде потомства. Нужно творить этот суд в самом себе при жизни, не нанимая защитников. Тяжело, знаю... Не каждый берется. Так ведь и художник — не всякий встречный. Объективность — это не отсутствие личности, а ее здоровый расцвет. К объективности приходишь через пристрастие.

Речь зашла о новаторстве.

— Новизна не в приеме выражения,— убежденно, как формулировку, произнесла Белашова.—Новизна в системе мышления. А система эта сложна. Факт не всегда сам по себе убедителен в искусстве. Воображение обобщает смысл сюжета... Скульптор Александр Матвеев говорил, что натура — это повод для свободного сочинения. Но лишь знание натуры, понимание закономерностей ее формообразования дает настоящую свободу интерпретации.

Думая об искусстве Белашовой, я слышу ее слова: «Счастье — это полнота ощущения жизни».

Она полагала, что высокие принципы гениальности Пушкина непременно включают в себя верность ума и чувства, точность выражения, вкус, ясность и стройность.

В школьные годы ей прочили карьеру ученого-математика. Она выбрала никем тогда не почитаемую скульптуру.

— Надо знать, к чему стремишься. И надо стремиться к этому.

Так я и вижу ее в холодновато обставленном кабинете, рядом с портретом С. Герасимова, окруженную тысячью дел, обо всех помнящую и успевающую быть самой собой.

Однажды С. В. Герасимов спускался в лифте. Встретился с соседом по дому, молодым живописцем, недавним учеником. Тот был явно чем-то расстроен, и Герасимов участливо поинтересовался.

— Да вот, Сергей Васильевич,—ответил тот,—ребята со мной перестали здороваться. Не угодил чем-то. Руки опустились. Прямо не знаю, что делать.

— Не здороваются?—побагровел Герасимов. Напряженно надвинулся плечами на собеседника, строго взглянув в глаза.— Не здороваются, говоришь? А ты здоровайся. Не знаешь, что делать? Картину пиши. А то вся жизнь на обиды да сумнения уйдет.

Попутчик опешил. В каком-то тумане выходил из пыльного, затхлого подъезда. И вдруг услышал за спиной вздох, нежданно ободривший его.

— Думаешь, со мной здороваются...

Я повернул рассказу, потому что с грустью и радостью вспомнил недолгие встречи с мастером. Он был таким. Ранимым и не жалующимся, добрейшим к друзьям, к людям и грозным к нелюдям, лгунам, наветчикам.

...В редакции солидной газеты мне сказали, чтобы с почестью отвадить:

— Сделай беседу с Сергеем Герасимовым, тогда посмотрим... может, и сам будешь писать.

Герасимов возглавлял Союз художников. Академик. Вершина. А у меня, кроме университетского диплома, всего три заметочки в молодежной прессе. Но куда деваться? Узнал домашний телефон. Позвонил.

— Приезжайте минут через двадцать,—раздалось после моих первых и сбивчивых слов.—Что? Не успеете? Тогда жду на секретариате. В перерыве поговорим.

Поехал на улицу Горького, где тогда размещался Союз художников. Шло заседание. Притулился где-то у двери. Но подойти в перерыве не решился. Уж больно суровым показался мне лик Герасимова.

Позвонил через день. При встрече объяснил причину. Он рассмеялся.

— Ну, какой я грозный! Да ведь вопрос-то, сами помните, какой рассматривали. Тут нервы в смоленый канат превращать надо.

В другой раз мы разговорились на ходу, где-то возле его служебного кабинета.

— Не могу вас принять. На процедуры нужно,— сказал он как-то стеснительно.—Температура.

И все же взял с собой. В машину. Когда он скрылся за оградой больницы, я спросил у шофера:

— Давно?

— Других и на год не хватает, а он третий год...

...В машине Сергей Васильевич заговорил об абстракционистах.

— У меня тоже образ рождается в пятнах. Тут синее, тут зеленое. Здесь холоднее тон, там теплее. А потом кое-где веточки, облачка проступают. Лошадка теплым языком траву обирает. Родина... Русь. Какая уж тут отвлеченность! Но те первые краски, как первый дитячий крик, тоже сохранять надо. Растить, холить. А у нас иной раз мазнут туда-сюда и довольны. И все тут. Аплодисментов ждут.

Я не удивился, узнав, что в день смерти Сергей Васильевич продолжал работать.



Вениамин КАВЕРИН

МОЛОДОЙ ЗОЩЕНКО

(К 80-летию писателя)

М. Зощенко читает новый рассказ.

Работая над этой книгой, я ловил себя на мысли, что самое трудное в ней — поиски первых впечатлений.

Старые друзья — как добраться до них, расталкивая годы? Как заставить их «измениться до узнаваемости»? Как снова сойтись с ними, перелетая через пропасти, прыгая через разведенные мосты — в Ленинграде в двадцатых годах разводили мосты. Как встретиться с другом после трех или четырех десятков лет отдаленности, непонимания?

Но вот совершается чудо. Всматриваешься в почти уже незнакомое лицо, одеревеневшее, с грубыми морщинами старости, и бог знает какое волшебство стирает эти морщины. Разглаживается лоб. Глаза начинают яснеть, пристально вглядываясь. Возвращается молодость, многое еще видится вновь.

...Зафилософствоваться, заболтаться до рассвета. Не отступить, не отступиться от друга. Острота настоящего, его неотъемлемость, еще незнакомое угадывание в нем будущего. Надежда! Единодушие не мысли, но чувства. Доверие! Звон старинных часов, показывающих не только дни и часы, но и годы, раздается, когда в блеске молодости открывается улыбающееся лицо. Совершается открытие: да, так было! Вот оно, колючее, обжигающее, не постаревшее за полстолетия воспоминание!

Но иногда нужно просто ждать, отложив в сторону старые письма, старые фото. И оказывается, что первое впечатление под рукой, а не там, где ты пытался найти его, пласт за пластом отбрасывая время. Постороннее, случайное, косо скрестившееся, отодвигает занавеску волшебного фонаря, и то, что ты искал за тридевять земель, открывается рядом.

Комната была обыкновенная, с окном на двор, с огромным щитом голландской печки, выложенной в глубине, в левом углу белыми изразцами. В форточку была вставлена труба буржуйки, над которой колдовал, щепая лучины большим кухонным ножом,

---

Из трилогии «Освещенные окна».

большеглазый молодой человек с вьющейся каштановой шевелюрой — Лев Лунц, с которым мне случалось встречаться в университете. Тусклая лампочка, висевшая без абажура на длинном шнуре, едва проглядывалась в табачном дыму. Из мебели стояли только два стула, маленький стол и узкая железная кровать, на которой, тесно прижавшись, сидели люди. В этой тесноте кто-то еще и ходил, переступая через ноги и размахивая руками,— беленький юноша в пенсне, с шарфом на шее — Николай Никитин. Казалось, что все говорили сразу, молчал только сидевший за столом (на котором лежала рукопись) плотный человек, лет двадцати пяти, в гимнастерке и английских солдатских ботинках с обмотками. Это был Всеволод Иванов.

Ни появление Шкловского, ни то, что он пришел со мной, никого не удивило. Замолчали только когда он сказал оглушительным голосом, от которого задрожали стекла.

— Одиннадцатая аксиома!

Потом он стал знакомить нас, каждый раз возглашая вместо имени название моего рассказа «Одиннадцатая аксиома».

Меня встретили радушно, рассказ знали. Оказалось, что не Шкловский отнес его Горькому, а Слонимский (который в ту пору был секретарем Алексея Максимовича) дал прочитать его — или прочитал — Полонской, Никитину, Лунцу. Они почти не запомнились мне в тот вечер, от которого время стало отсчитываться заново, как будто бок о бок с общепринятым григорианским календарем у меня появился свой, особенный, новый.

Впечатление было острым, потому что в психологической картине, быстро развернувшейся перед моими глазами, главным был не частный, а общий интерес — и даже не интерес, а нечто большее — призвание. Как будто в эту маленькую комнату было внесено нечто очень важное для всех находившихся в ней — и даже для трех хорошеньких девушек, сидевших на кровати. Сквозь табачный дым все рассматривали это важное и сложное, стараясь прийти к определенной цели.

Шкловский скоро ушел, а меня, потеснившись, посадили на кровать, как бы пригласив вместе с ними изучать эту сложность и стремиться к еще неизвестной мне цели.

Сложность относилась к только что прочитанному рассказу, на который я опоздал. Но скоро стало ясно, что, может быть, не так уж и важно, что я опоздал: предметом, внесенным в комнату, был, в сущности, не рассказ, а место, которое он мог занять (так утверждали одни) и не занял (так утверждали другие) в нашей литературе.

А цель... О, цель выступала на сцену с большой буквы! Это была Цель, удивившая меня тем, что она не только не разъединяла, но как бы соединяла спорящих, точно они заранее сговорились достигнуть ее сообща, не врозь, не заслоняя друг друга, а именно сообща — и это несмотря на то, что спорившие настаивали на прямо противоположных мнениях.

Как все это было непохоже на эстрады литературной Москвы, звенящие, шумные. Там думали не о призвании, а о признании. Полярность между этой комнатой и «Кафе поэтов», с его молодыми посетителями, красившими губы и рванувшимися все равно куда, лишь бы в сторону от литературных традиций, была беспредельной, необозримой. И нельзя сказать, что я сразу же «отказался» от Москвы, зачеркнул ее, забыл. Мне еще предстоял тогда выбор. Пусть незаметный, но столичный поэт, я видел Маяковского, был участником Пушкинского семинара Вячеслава Иванова, слушал лекции Луначарского, был у Андрея Белого, который говорил со мной о «Записках мечтателей», как будто я сам был одним из этих мечтателей, избранников человечества. Меня томило нетерпение, честолюбие — и это продолжалось годами.

Вниманию и мягкости моих новых друзей я обязан тем, что стал в маленькой комнате Слонимского своим человеком...

Первый вечер, который я провел среди новых друзей, потом смешался с воспоминаниями о других вечерах, не менее интересных. Но это был переход к новой, еще неведомой жизни — вот черта, которую я почувствовал смутно, но верно.

Я возвращался домой. Петроград, уже опустевший, хотя еще только что пробила полночь, лежал передо мной пустой, геометрически точный.

Вечер был такой и город был такой, что нетрудно было представить себе, что именно они, этот удивительный город и этот необыкновенный вечер, соединившись вместе, подсказали эпиграф, который стоит на титульном листе романа «Города и годы»: «У нас было все впереди, у нас не было ничего впереди».

Уже тогда, среди едва намечавшихся отношений, была заметна близость между Зощенко и Слонимским. «Зощенко — новый Серапионов брат, очень, по мнению Серапионов, талантливый»,— писал Слонимский Горькому 2 мая 1921 года. («Серапионовы братья» — так загадочно для нас самих называлась наша литературная группа).

Зощенко был одним из участников студии переводчиков, устроенной К. И. Чуковским и А. Н. Тихоновым для издательства «Всемирная литература». «В тот краткий период ученичества,— пишет Чуковский,— он перепробовал себя во многих жанрах и даже начал однажды, как он мне сказал, исторический роман. ...Своевольным, дерзким рефератом, идущим вопреки нашим студийным установкам и требованиям, он сразу выделился из среды своих товарищей... Здесь впервые наметился его будущий стиль: он написал о поэзии Блока слогом заядлого пошляка Вовки Чучелова, который стал одной из любимых масок писателя».

Но почему Зощенко не сразу появился на наших субботах, как другие студийцы — Лунц, Никитин, Познер? Мне кажется, что это связано с решающим переломом в его работе.

Однажды он рассказал мне, что в молодости зачитывался Вербицкой, в пошлых романах которой под прикрытием женского равноправия обсуждались вопросы «свободной любви».

— Просто не мог оторваться,— серьезно сказал он.

Он был тогда адъютантом командира Мингрельского полка, лихим штабс-капитаном, и чтение Вербицкой, по-видимому, соответствовало его литературному вкусу. Но вот прошли три-четыре года, он вновь прочел известный роман Вербицкой «Ключи счастья», и произошло то, что он назвал «чем-то вроде открытия».

— Ты понимаешь, теперь это стало для меня пародией, и в то же время мне представился человек, который читает «Ключи счастья» совершенно серьезно.

Возможно, что это и была минута, когда он увидел своего будущего героя. Важно отметить, что первые поиски, тогда еще, может быть, бессознательные, прошли через литературу. Пародия была трамплином.

Она и впоследствии была одним из любимых его жанров: он писал пародии на Е. Замятина, Вс. Иванова, В. Шкловского, К. Чуковского. В этой игре он пока показал редкий дар свободного воспроизведения любого стиля.

Вопреки своей отдаленности друг от друга, все они, с его точки зрения, писали «карамзиновским слогом»,— и он дружески посмеялся над ними. Дружески, но, в сущности, беспощадно, потому что его манера, далекая от «литературности» в любом воплощении, была основана на устной речи героя.

Кто же был этот герой?

Тынянов в одной из записных книжек набросал портрет мещанина и попытался психологически исследовать это понятие.

«...Крепкий забор был эстетикой, мещанина,— читаем мы в этих набросках.— Внутри тоже развивалась эстетика очень сложная. Любовь к завитушкам уравновешивалась симметрией завитушек. Жажда симметрии — это была у мещанина необходимость справедливости. Мещанин, даже вороватый, или пьяный, требовал от литературы, чтобы порок был наказан — для симметрии. Он любил семью, как симметрию фотографий. Обыкновенно они шли, эти фотографии, по размеру, группами в 5 штук, причем верхняя была почти всегда — вид, пейзаж. Помню, как одна мещанка снялась с мужем, а на круглый столик между собой и мужем — посадила чужую девочку, потому что она видела такие карточки у семейных. (Здесь уже начинается нормативность мещанской эстетики.) В состав эстетики этой входят также в большом количестве кружева. Я нигде не видел столько кружев, как в мещанских домах. Кружева удовлетворяют мещанина 1) как абстрактная симметрия бессмыслицы, 2) как заполнение пространства... которого мещанин боится. Между тем диссимметрия, оставляя перспективность вещей, обнажает пространство. Любовь к беспространственности, подспудности всего размашистей и злей сказывается в эротике мещанина. Достать из-под спуда порнографическую картинку, карточку, обнажить уголок между чулком и симметричными кружевами...»

В «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхова» Зощенко не только понял это всепроникающее явление, но проследил лицемерно-трусливый путь мещанина через Революцию и гражданскую войну. В этой книге было предсказано многое. В новом мещанине (времен нэпа) не было «забора», он жил теперь в коммунальной квартире, но с тем большей силой развернулась в нем «оглядка на чужих», завистъ, злобная скрытность. Беспространственность утвердилась в другом, эмоциональном значении.

Эта книга писалась, когда Зощенко пришел к Серапионам. Расстояние между автором и героем было в ней беспредельным, принципиально новым. Каким образом это «двойное зрение» не оценила критика, навсегда осталось для меня загадкой.

Он был небольшого роста, строен и очень хорош собой. Глаза у него были задумчивые, темно-карие, руки — маленькие, изящные, рот с белыми, ровными зубами резко складывался в мягкую улыбку. Он ходил легко и быстро, с военной выправкой — сказывались годы в царской, потом в Красной Армии. Постоянную бледность он объяснял тем, что был отравлен газами на фронте. Но мне казалось, что и от природы он был смугл и матово-бледен.

Не думаю, что кто-нибудь из нас уже тогда разгадал его — ведь он и сам провел в разгадывании самого себя не одно десятилетие. Меньше других его понимал я — и это не удивительно: мне было восемнадцать лет, а у него за плечами была острая, полная стремительных поворотов жизнь. Но все же я чувствовал в нем неясное напряжение, неуверенность, тревогу.

Казалось, что он давно и несправедливо оскорблен, но сумел подняться выше этого оскорбления, сохранив врожденное ровное чувство немстительности, радушия, добра.

Думаю, что он уже и тогда, в начале двадцатых годов, был высокого мнения о своем значении в литературе, но знаменитое в серапионовском кругу «Зощенко обидится» было основано и на другом. Малейший оттенок неуважения болезненно задевал его. Он был кавалером в старинном, рыцарском значении этого слова — впрочем, и в современном: получил за храбрость георгиевский крест.

Он был полон уважения к людям и требовал такого же уважения к себе.

Однажды, после затянувшейся серапионовской субботы, мы почему-то должны были спуститься не на Мойку, как обычно, а по черной лестнице во двор. Но что-то происходило на дворе — испуганные крики, ругательства, угрозы.

Мы стояли на лестнице, внизу неясно светился прямоугольник распахнутой двери. Скоро выяснилась причина суматохи: какой-то пьяный человек, без шапки, в распахнутой шинели, с обнаженной шашкой гонялся за всеми, кто выходил из дверей или появлялся в воротах. Шашка посверкивала в слабом свете, выходить было страшно, и, переговариваясь с возмущением, мы ждали. Впрочем, недолго. Зощенко, стоявший на первой ступеньке, появился на дворе и неторопливо направился прямо к буяну. Тот замахнулся с грубым ругательством, и мы только вскрикнули, когда Зощенко не отклонился. Он стоял прямехонький, подняв плечи. Шашка просвистела над его головой.

Не знаю, что он сказал обезумевшему человеку, но тот, бессвязно бормоча, стал отступать. Так, с шашкой в руке, его и взяли подоспевшие милиционеры.

●



ПРИЧИНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

С самого начала споров коммунистов с маоистами у многих советских людей возникал недоуменный вопрос: почему, собственно, маоистский Китай, для которого Советский Союз сделал так бесконечно много и бескорыстным другом которого он хотел оставаться и впредь, повернулся против СССР?

Что сделало Мао Цзэ-дуна антисоветским человеком?

Вопрос этот можно часто слышать у нас и сейчас.

Ясный ответ на него дает недавно вышедшая книга Отто Брауна «Китайские записки». Вероятно, в последнее время оставалось уже очень немного людей, которые, основываясь на личном опыте, могли ответить на все это с таким знанием дела, как Браун. Так же, как П. Владимиров, о книге которого «Особый район Китая» я недавно писал на этих страницах, Браун видел все своими глазами, но увидеть это ему довелось на 10 лет раньше, еще с 1932 года, когда все только начиналось. Браун знал скрытую, закулисную сторону того, чем уже во время второй мировой войны был поражен Владимиров. Обе книги дополняют друг друга.

Их авторы совершенно разные люди; разные по национальности, по своему жизненному пути, по темпераменту, по складу ума и манере писать. Владимиров — русский и журналист, Браун — немец и профессиональный революционер. Он был одним из тех старых немецких коммунистов, учеников Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Вильгельма Пика, для которых, как для большевиков, дело революции было делом их жизни.

Еще в 1919 году, 19-летним юношей, Браун дрался на баррикадах Баварской Советской Республики в Мюнхене и потом участвовал в самых трудных конспиративных делах немецкой компартии. В 1928 году вся Германия была потрясена его сенсационным побегом из берлинской тюрьмы Моабит. Окончив Военную академию имени М. В. Фрунзе в Москве, Браун был послан Коминтерном в Китай в качестве военного советника при ЦК китайской компартии.

В Китае он провел всего 7 лет. Но что это были за годы! Браун рассказывает о них спокойно, даже сухо. Книгу Владимирова можно сравнить с блестящим документальным фильмом. Браун перемежает свои воспоминания теоретическими отступлениями и



военно - географическими картами. И в том, что он делал и что делалось с ним, когда он находился при штабе Мао Цзэ-дуна, он видит только привычную для боевого коммуниста жизнь. Но и в его строгом рассказе ощущается драматизм истории.

Вот самое важное, что выясняется из книги Брауна. Начиная с 1936 года и даже еще раньше Мао Цзэ-дун делал все, чтобы втравить Советский Союз в войну с гоминьдановским Китаем и Японией: причем тогда, когда с запада уже готовился к нападению на СССР Гитлер.

Это как будто звучит дико. Между тем это бесспорный факт. Разгадка — в маоистской теории и практике «китаецентризма».

Когда в 1676 году русский посланник Спафарий прибыл в Пекин с целью завязать нормальные отношения между Россией и Китаем, китайские царедворцы потребовали, чтобы он совершил церемонию «кэтау»: трижды стал перед царствующим богдыханом на колени и, простершись ниц, бил лбом о пол. Объясняя это требование, придворный сановник Голай сказал Спафарию: «Не подивись, что у нас обычай таков, а своему государю скажи: как один бог есть на небе, так один бог наш земной стоит среди земли меж всех государей и окрест его все государства стоят. И та часть у нас не переменна была и вовек будет же».

Это было 300 лет назад. Мао Цзэ-дун живет в XX веке, называет себя марксистом и говорит не тем языком, каким говорили древние китайские феодалы. Но суть его политики, как это ни невероятно, та же, что у них. Идея китаецентризма преподносится Мао Цзэ-дуном под личиной теории о «перемещении центра мировой революции» с запада на восток, в частности же — из Советского Союза в Китай. Это, по его мнению, дает ему право в его собственных интересах ставить СССР под любой удар.

Мао Цзэ-дун считал, пишет Браун, «что центр мировой революции теперь переместился на Восток в Китай, подобно тому, как в 1917 году он переместился из Германии в Россию. Отсюда Мао Цзэ-дун делал вывод, что Советский Союз обязан любой ценой помочь революционному Китаю, не останавливаясь даже перед войной... Говоря словами китайской пословицы, Мао Цзэ-дун хотел, «сидя на холме, наблюдать битву двух тигров в долине», как поступали в отношении друг к другу древние китайские феодальные князья».

Что в то время означало это на практике? Браун, военный советник при руководстве китайской компартии, рассказывает об этом подробно. Он сообщает, что за несколько лет до второй мировой войны Мао Цзэ-дун выдвинул план похода находившейся тогда в провинции Шэньси китайской Красной Армии на север, чтобы через Монгольскую Народную Республику установить непосредственную связь с Советской Армией на Дальнем Востоке. Совершенно ясно, что это в конечном счете могло иметь только один результат: вовлечение Советского Союза в прямую войну сначала с гоминьдановским Китаем, а затем и с Японией. Такой поход, несомненно, дал бы Японии повод к нападению на МНР, с которой СССР был связан договором о взаимопомощи.

В этой связи особенно важно следующее обстоятельство. Свои планы о походе на север Мао Цзэ-дун выдвинул в 1936 году. Но именно в этом году милитаристская Япония позднее подписала так называемый «Антикоминтерновский пакт» — договор, фактически равносильный сделке о совместном нападении Германии и Японии в какой-то момент на СССР. Если бы план Мао Цзэ-дуна был осуществлен и на Дальнем Востоке вспыхнул серьезный — не только местный — советско-японский конфликт, включавший Китай, то Советский Союз был бы вынужден вести большую войну на два фронта!

Иначе говоря, Мао Цзэ-дун сознательно шел на то, чтобы Советская страна поставила на карту свое существование ради его планов. Это и был «китаецентризм» в его современном выражении — по принципу «после нас хоть потоп».

То, о чем рассказывает Браун,— абсолютно достоверные факты. Их подтвердил не кто иной, как сам «кормчий». В интервью с американским журналистом Эдгаром Сноу в том же 1936 году он заявил, что действительно рассчитывал на вовлечение Советского Союза в войну с Японией, использовав для этого позиции китайской Красной Армии в северо-западном Китае. Браун присутствовал на том совещании Политбюро ЦК китайской компартии, на котором Мао потребовал, чтобы эта армия через провинции Суйюань или Чахар прорвалась к границам МНР.

Такими делами Мао Цзэ-дун занимался три десятилетия назад. Понятно, что к марксизму это никакого отношения не имело. Речь шла о все том же унаследованном от богдыханов архшовинистическом китаецентризме, реставрированном на современный манер.

Браун рассказывает, что Мао Цзэ-дун любил цитировать высказывания китайских феодалов и полководцев, которым, как он заявлял, «стоит подражать». Он часто проводил параллели с фактами из истории китайской феодальной империи, стремясь особенно подчеркнуть роль, которую играли в ней «великие люди». Он не скрывал своего восхищения Цинь Ши-хуаном, первым императором династии Цинь, который более двух тысячелетий назад в кровавой 24-летней войне утвердил свою власть над всей страной, воздвиг, пожертвовав миллионами человеческих жизней, Великую стену и устроил беспрецедентное тогда в истории сжигание книг. Мао восхвалял и Чингисхана.

Читая все это, многие не перестанут удивляться. Можно ли назвать такого человека коммунистом? Или надо считать его просто безумцем?

Дело обстоит не так. Надо попытаться отыскать классовые корни явлений. Мао Цзэ-дун был и остался фанатичным мелкобуржуазным националистом; человеком, для которого идея коммунизма всего лишь маска. Все в мире, с его точки зрения, должно вращаться вокруг «его» Китая, все должно жертвоваться в угоду ему, царствующему в Китае «великому человеку». Вот почему Мао Цзэ-дун железом и кровью расправился с сотнями тысяч честных интернационалистов в рядах китайской компартии, выступивших против его мелкобуржуазного национализма. И вот почему он повернулся против СССР.

Книга Брауна полностью подтверждает выводы книги Владимирова. Не 10 и 20 лет назад, а гораздо раньше, еще до второй мировой войны, начал Мао Цзэ-дун вести подкоп против Советского Союза. Многое из того, что кажется диким и странным в маоистской политике, после прочтения этих двух книг становится не менее диким, но понятным. Причины предательства отчетливо выступают наружу.

Окончательное же подтверждение этих выводов — в том факте, что после второй мировой войны Мао Цзэ-дун занимается в точности тем же, чем занимался до нее: систематическими попытками вовлечь СССР в вооруженный конфликт с империалистическими державами. Сам он при этом рассчитывает остаться в стороне и на развалинах мировой цивилизации водрузить свое собственное знамя. Мы знаем, что в 50-х, 60-х и 70-х годах почти не проходило и года без таких попыток со стороны Пекина. Предпринимаются они и теперь.

В отличие от Владимирова Браун почти не касается личности Мао Цзэ-дуна. Старый немецкий коммунист, лично знавший руководителей ленинского типа в германской компартии и в Коминтерне, говорит все время о чисто политических вопросах и как бы закрывает глаза на личные особенности нынешнего главы КПК. Но и он вынужден упомянуть о «двуличии» Мао Цзэ-дуна, о его «богдыханских замашках», о его стремлении быть «самодержцем».

Партия для Мао Цзэ-дуна не содружество революционеров-единомышленников, отдающих все для идеи, а некая частная собственность, царство, которое нужно захватить и покорить; покорить любой ценой, любыми способами. Отсюда — интрига за интригой, обман за обманом, массовые убийства коммунистов под видом «революционного террора», древний азиатский деспотизм под видом «китайского марксизма». Марксизм был и есть один — интернационалистский марксизм Маркса, Энгельса и Ленина.

Художественным блеском книга Брауна не отличается. Но и в его строго деловом повествовании как бы против воли автора встречаются захватывающие с литературной точки зрения страницы. Вот отрывок из его описания «Великого похода» китайской Красной Армии в середине 30-х годов, когда она прошла 10 тысяч километров, преодолела 10 горных цепей, 5 из которых были покрыты вечным льдом и снегом, и форсировала 24 большие реки.

«...Под обманчивым травянистым покровом скрывалось топкое черное болото. Оно сразу засасывало всякого, кто ступал на тонкую верхнюю корочку или сходил с узкой тропинки... Мы гнали перед собой местный скот или лошадей, которым инстинкт подсказывал безопасную дорогу. Почти над самой землей висели тучи. В течение дня по нескольку раз шел холодный дождь, а по ночам — мокрый снег или град. Вокруг, насколько хватал глаз, простиралась безжизненная равнина, без единого деревца или кустика.

Мы спали скорчившись на болотных кочках, прикрывшись тонкими одеялами и нахлобучив соломенные шляпы... Часто по утрам кое-кто уже не вставал. Это была очередная жертва голода и истощения. А ведь стояла только середина августа! Единственную пищу составляли зерна злаков и в редких случаях доставался кусочек сушеного, твердого, как камень, мяса. Пили сырую болотную воду, дров для ее кипячения не было. Снова появлялся исчезнувший было в Сикане кровавый понос и тиф...»

Так они шли вперед.

Суровый революционер Браун не знал и, вероятно, не поверил бы, что, записывая лишь то, что видел, не прибавляя ни слова о своих собственных ощущениях, не претендуя ни на какое изящество слога, он в эти минуты становился художником. Читая эти скупые строки, мы начинаем понимать, что́ означало делать революцию в такой стране, как Китай, сколько героизма заложено в народе, преданном Мао Цзэ-дуном.

Записки Брауна не просто политическая книга, это исторический документ. В течение ряда лет опытный немецкий революционер, целиком посвятивший себя делу китайской компартии, был «свидетелем века»: находясь вблизи Мао Цзэ-дуна, располагал возможностью день за днем наблюдать за тем, что происходило вокруг него. Его показания неопровержимы. Отмахнуться от таких свидетелей, как Браун и Владимиров, «великий кормчий» не может. Нет сомнения, что рано или поздно сообщения этих двух очевидцев будут дополнены множеством свидетельств самих китайских коммунистов, которым теперь еще приходится скрепя зубы молчать.

История никогда не забывает предъявить свой обвинительный акт (как и свою защитительную речь), хотя иногда с точки зрения современников и делает это с некоторым опозданием. Что бы ни произошло в будущем на Дальнем Востоке, трагедия, которую пережила и продолжает переживать китайская компартия, будет в свое время раскрыта от начала до конца.

Я думаю, что каждому заинтересованному в международной политике молодому человеку наших дней стоит не только прочесть, но и глубоко задуматься над книгой Отто Брауна.

Эрнст ГЕНРИ

УЧИТЕЛЬ

Если составить простой перечень имен, упомянутых в этой книге (Максим Рыльский. О поэзии. Статьи. Перевод с украинского. Составители Б. Рыльский и Т. Стах. М., «Советский писатель», 1974 г.), даже он может дать представление об энциклопедичности познаний и неисчерпаемости творческих интересов выдающегося поэта.

Книга объединила статьи разных лет, время их написания отчетливо сказалось на содержащихся в них оценках литературных явлений, тональности изложения. И при всем том никакой пестроты — сборник отличен внутренней цельностью, монолитностью, единством пафоса, пронизывающего исследования и заметки. В книге живет, наполняет ее глубокое преклонение перед чудом поэзии, глубинная вера в могущество художественного слова, способного поднять на борьбу, утешить и вдохновить страждущих, проложить пути человеческого взаимопонимания. Эти критические страницы написаны романтиком — в том смысле, какой любил видеть в слове «романтик» сам Рыльский, говоря об особом мироощущении, состоянии души.

Собранные в книге статьи вышли из-под пера поэта, уже ставшего мастером литературы украинской, всей советской культуры. Но прислушаемся к авторским интонациям: и в слове о Пушкине, Шевченко, Мицкевиче и в заметке о творчестве молодого собрата — то же в первую очередь прочитываемое уважение к литературе, которой служат и гений и скромный талант. Книга лишена менторства, подчеркнутого учительства — и это один из многих преподанных ею уроков.



Есть темы, к которым неустанно обращался М. Рыльский в своем критическом творчестве. Он настойчиво искал все новые и новые доказательства того, что истинная поэзия глубоко народна. Нет, Максимом Фаддеевичем решительно отвергались узкие представления о народности литературы. Во многих местах сборника найдете вы мысль: не только поверхностная стилизация, но и использование литератором фольклорных сюжетов и форм еще не делают его творчество подлинно народным. Вся суть в том, удалось ли поэту выразить чаяния и устремления народа, провидеть и разделить его судьбу в решающие моменты истории. Отсюда: «Великие народные поэты говорят за свой народ, выступают от его имени, но высказывают мысли народа по-своему, своим голосом» («Тарас Шевченко»). Отсюда же: «Любовь Блока к жизни, любовь его к России — это пушкинская, некрасовская любовь к народу» («Александр Блок»).

Статьи М. Рыльского написаны простым, строгим языком, отношение к предмету изложения всегда определенно, круг введенных в обиход литературных понятий весьма привычен для рядового, как принято говорить, читателя, но автор не случайно предостерегал против той простоты, что хуже воровства. Против наивной хрестоматизации Шевченко, которая может помешать читательскому проникновению в его «мятежный и страстный дух», в саму душевную жизнь «гениального горемыки». Против «применения к Франко школьных схем и определений». Творчество выдающихся деятелей литературы рассматривается с отчетливым пониманием его внутренних сложностей и противоречий, живой диалектики развития. Достаточно вспомнить анализ «Пана Тадеуша» — анализ блестящий и тонкий.

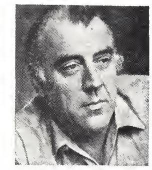
Максим Рыльский был интернационалистом по сути своей и духу, по характеру своего энциклопедического ума. Он неоднократно обращался к творчеству классиков русской литературы и современных русских поэтов, поэтов самых разных стран и народов как критик и как переводчик, общепризнанный мастер перевода. Он радовался каждой искре подлинной поэзии, где бы и когда бы она ни вспыхнула. Он с гневом и страстью восставал против любых проявлений национальной замкнутости, национального высокомерия. И ему же принадлежит высказывание: «Нельзя вместе с тем не заявить со всей решительностью, что поэт сильнее всего выражает себя тогда, когда пишет на родном языке».

Многогранное творчество М. Рыльского стало явлением отечественной культуры. А культура, ее проблемы — это то, что никогда не теряет своей актуальности. Об этом еще раз напомнил сборник статей поэта в переводе на русский язык, сборник, составленный продуманно, с пониманием мастера, всю жизнь вдохновлявшегося «бесценным даром» поэзии, писавшего о счастливых обладателях этого дара нежно и трепетно.

А. РУДЕНКО

Вадим Сикорский





Потомкам

Вас нет. Не знаю я, что вы за люди.
Но ощущаю ясно каждый час,
что вы чего-то ждете там от нас,
т а м, что еще когда-то будет...

Вас нет еще лока. Но я уже
зачем-то всею жизнью отвечаю
за вас. Я ваши жизни ощущаю,
и вы — хозяева в моей душе.

Все ради вас — того не обороть! —
хотя лока еще вы в дальней дали,
вы кровь мою, вы жизнь мою вобрали
в еще не существующую ллоть.

Кому я адресую свой улрек!
Вас нет. Вы то же, что и рать минувших:
их был уже, ваш еще будет срок.
Жизнь — луть к нелробужденным
от уснувших.

Но если б кто освободил меня
от этой торжествующей заботы —
мне мир лредстал бы как одни лустоты,
я не дожил бы до заката дня.

Накануне боя

...Свинцово-огненные годы
я лересечь не ломогу:
здесь брода нет, смертельны воды...
На том останься берегу!

Какой излучиною время
тебя случайно обтекло!
Останься там, с цветами теми,
с улыбкой той — всему назло!

Останься девочкой румяной,
в том белом ллатьице, в саду...
А я, солдат твой безымянный,
лусть с именем твоим ладу.

✪

В когтях у чайки, леред смертью,
лознать воздушный океан,
где горы, лес, где солнце светит —
мир, что не рыбьей доле дан...

Убейте — не услев остыть, я
хочу в иное лосмотреть,
а ради этого открытья,
быть может, стоит умереть.

✪

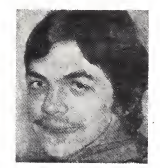
Как ни сильнó мое воображение,
оно не может отыскать лричин,
чтоб олравдать хоть как-то лоражение
бесстрашных и бунтующих лучин.

Я не лойму, как можно бурю хаоса
и гром всеосвежающей весны
вогнать в беззвучие слокойной лаузы,
в каркас гармонии и тишины!

И все ж есть ритм в искусстве и в истории,
есть ямб, организующий миры.
Есть годы взлета, годы есть слокойные —
как жизнь и смерть. И в этом суть игры.

В безжизненности звезд есть наше бдение,
лусть холод бездны не страшит умы —
ведь лето, осень, торжество весеннее
кристаллизованы в снегах зимы.

Михаил Поздняев





Ода кухонной полке

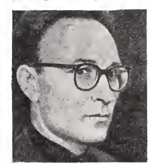
Славься, кухонная лолка,
где соседствуют карболка,
лолкоробки сухарей,
две бутылки из-лод лива,
медицинская кралива,
аслирин и лук-лорей.
Рядом с куклою слелою —
банка с гречневой крулою
здесь устроила лостой;

следом жмутся и теснятся,
черной кожею лоснятся
Достоевский и Толстой.
Следом — что там видно следом! —
человек, укрывшись пледом,
курит, сидя за столом;
дальше — кто там, за окошком! —
пожилой грибник с лукошком
и старуха с костылем.
Все плотней стоят на полке
деревенские двуколки,
тарантасы и возы;
всадник едет по дороге,
в стремена поставив ноги,
как в аптечные весы.
Дальше — больше, дальше — пуще,
дальше — Павловские кущи,
Царскосельские пруды
в облаках прокисшей тины,
Петергофские куртины,
шум летающей воды.
Дальше — гуще, дальше — больше,
небосвод соседней Польши
виден, словно в двух шагах,
а шагнешь чуть-чуть правее —
кашель чахлого Борея
ощущаешь на щеках...
Полка! Бог с тобою, поле,
где шатаются от боли
толпы, армии, стада,—
словом, то, что мы с тобою
«несчастливою судьбою»
называем без стыда,
то, что нас на карту ставит,
то, что нас теснит и давит,
жмет, как ржавые тиски,
под свою строгает мерку;
а на деле, на поверку —
два гвоздя, кусок доски.

Царскосельское рисование

Художник выкрасит листву
назло земному естеству
в лиловый цвет, а желтый камень
строений сделает седым
и расположит серый дым
затейливыми завитками.
Он ветви лишние сорвет,
причем нимало не соврет,
в своем решении уверен,
поскольку ломкие кусты
навряд ли были так густы,
когда средь них гулял Каверин.
Едва не плача от тоски,
спеша накладывать мазки,
он тюбик пальцами раздавит —
и тотчас быстрые глаза
Француз, Повеса, Егоза
на нас из сумрака уставит...
И в самом деле, разве слух
не уличает шепот слуг,
и поступь старого лакея,
и щебетание мышей,
и причитания вещей
из Царскосельского лицея!
И эти мертвые листы —
все так же хрупки и чисты,
и край их трепетный опущен
на заостренных уголках —
когда б их комкали в руках
Державин, Батюшков и Пущин.
И сей порхающий снежок,
парящий, словно порошок,
то потухая, то белея,—
на деле — пыль старинных книг,
что сдул лукавый ученик,
меж полок пряча Апулея.

Флор Васильев



✪

О Родина! Ты у меня одна.
Тобой дышу, живу твоей судьбой.
Тебе душа навеки отдана.
И это счастье — быть всегда с тобой...
А если вдруг расстанусь я с тобой,
Тогда лучиной жизнь моя сгорит.
И в миг последний слабый голос мой:
— О Родина! — все так же повторит.

✪

На луговине нежатся цветы.
Спешат на землю светлые лучи.
Над лесом заливаются дрозды.
И плещут волны медленной Чулчи.
Народы исчезают без следа.
Бушуют грозы, и горят леса.
И только эта вечная вода,
Как прежде, отражает небеса.
Качается в жилище колыбель.
Потом кричат на кладбище грачи.
Но все равно — и прежде и теперь —
Струятся воды медленной Чулчи.

Перевел с удмуртского
А. ЖИГУЛИН.

✪

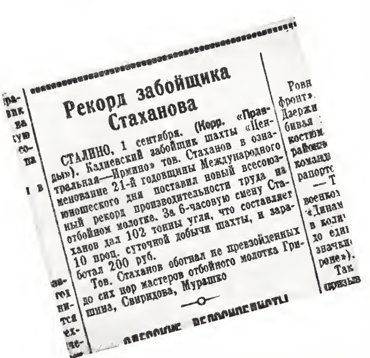
А поле спит давным-давно
Под одеялом, ветром сброшенным.
В морозы лютые оно
Лежит светло и завороженно.
Спит поле. Сны его добры.
В них летний труд и песни смешаны.
И звукам давешней поры
Так тихо вторит поле снежное.
И видит, милое, во сне
(О как ему под снегом дышится!),
Что красным флагом по весне
Сама заря над ним колышется.

Перевела Т. КУЗОВЛЕВА.



Семен
ГЕРШБЕРГ

И НАСТУПИЛО УТРО...



Рекорд забойщика Стаханова

СТАЛИНО, 1 сентября. (Корр. «Правды»). Кадиевский забойщик шахты «Центральная—Ирмино» тов. Стаханов в ознаменование 21-й годовщины Международного юношеского дня поставил новый всесоюзный рекорд производительности труда на отбойном молотке. За 6-часовую смену Стаханов дал 102 тонны угля, что составляет 10 проц. суточной добычи шахты, и заработал 200 руб.

Тов. Стаханов обогнал не превзойденных до сих пор мастеров отбойного молотка Гришина, Свиридова, Мурашко

Так страна узнала о Стаханове.

1

В последнюю августовскую ночь теперь уже далекого тридцать пятого года, в Донбассе, на шахте «Центральная-Ирмнно», произошло событие, удивительную судьбу которого невозможно было себе представить.

В десятом часу вечера 30 августа к стволу шахты подошли трое и сели в клеть. Зазвучал сигнал — рукоятчик ударил по рельсу, и клеть опустилась на глубину в полкилометра. Трое — это забойщик Стаханов, крепильщики Щиголев и Борисенко. Они быстро направились по подземным ходам к угольному участку, носившему имя «Никаиор-Восток».

Следом за ними спустились еще трое— парторг шахты Петров, начальник участка Машуров и редактор шахтной многотиражки Михайлов.

В лаве было пусто. Ночная смена считалась ремонтной. Но те, кто явился сюда в тихий час, к ремонтам не имелн иикакого отношения. Не теряя времени, Стаханов подсоединил свой отбойный молоток к гибкому шлангу со сжатым воздухом. Автоматной очередью затрещали удары бойка, острая пика врезалась в черный пласт, отваливая глыбы угля. Парторг Петров освещал забой сильной струей света «надзорки»—аккумуляторной лампы.

Добыча угля велась поразительным образом. Испокон веку забойщик был одновременно и крепильщиком: сам вырубал уголь и сам деревянными стойками закреплял за собой выработанное, то есть очищенное от угля, пространство. Теперь забойщик Стаханов только рубил. А крепильщики шли за иим следом и только крепили.

Никто, кроме нашей шестерки, не знал о том, что затевалось в ту ночь иа участке «Никанор-Восток». Не знал даже заведующий шахтой.

И вот как это получилось...

Приближался Международный юношеский день (МЮД), который отмечался ежегодно 1 сентября. Парторг шахты Константин Петров, комсомолец двадцатых годов, думал иад тем, каким трудовым успехом можно было бы отметить МЮД — шахтеры привыкли встречать праздиики рекордами. Много бывало их в Донбассе, но иикогда еще на «Центральной-Ирмино». А что если попробовать? И с кем попробовать?

Человеку обычному, ие горняку, представлялось, будто рекорды доступны людям, выделяющимся особой физической силой. Знаменитый забойщик Никита Изотов, прославившийся рекордами в начале 30-х годов, еще работая таким примитивным ручным инструментом, как обушок, рассказывал мне: «Говорят, Изотов сильный, Изотов крепкий, потому много угля вырубает... Да у нас на шахте есть силачи, борцам ие уступят, а

угля берут с гулькин нос. Нет, одной силой угля не возьмешь! Тут требуется искусство».

И пока Донбасс держался на ручном труде, высокая производительность забойщика почти целиком зависела от горного искусства. Но чем больше шахты оснащались механизмами — отбойными молотками, врубовыми машинами, конвейерами, электровозами, новые возможности и надежды все более связывались с переменами в системе организации труда.

Долгое время в Донбассе витала идея разделения труда забойщика и крепильщика, но казалась она туманной и даже несбыточной. Чтобы ее осуществить, требовалось полностью перестроить технические условия в шахте, сломать традиционный уклад в забое и самое трудное — преодолеть старые привычки шахтера. Но кто-то же, когда-то же должен был дерзнуть!

И парторг «Центральной-Ирмино» Петров задумал дерзнуть... Он переговорил с начальником участка коммунистом Машуровым и встретил в нем союзника. Пошли они вместе к заведующему шахтой, но тот решительно отказался рисковать. «С тобою или без тебя, но мы будем пробовать!» — решил про себя Петров.

Теперь нужно было продумать главное: с кем пробовать. На шахте немало хороших работников — коммунистов, комсомольцев, беспартийных. На ком же остановить свой выбор? В предмюдовские дни шахтный партком проводил соревнование на лучшего забойщика. В нем выделился Стаханов. Беспартийный, но близкий к партии человек. Выходец из крестьян Орловщины, на шахту пришел в 1927 году в лаптях, с сундучком за плечами, но с тех пор уже много воды утекло. Прощупал не одну шахтерскую специальность — был и коногоном, и тормозным, и отгребщиком, и навалоотбойщиком, но прирос к профессии забойщика.

29 августа перед вечером явились домой к Стаханову Петров с Машуровым. Разговорились о шахтных делах, больше всего Стаханов нападал на неполадки, отчего и получается низкая производительность труда. Лава разрезана на восемь коротких уступов, хорошему забойщику не развернуться — негде брать уголь. Стаханов сказал, что всем осточертел этот тесный уступ. Сколько раз думалось: дали бы одному прорубать всю лаву, наверное, один бы с ней справился!

— Вот-вот,— ухватился Петров,— а что если в самом деле пойти тебе одному на всю лаву? А за тобой чтобы крепили два крепильщика?

— Вырубаю. Определенно вырубаю, если буду работать только молотком...— горячо ответил Стаханов. Но тут же заколебался: — Ну, а если не справлюсь?..

И присутствовавшая при этом жена Стаханова тоже усомнилась: если провалится Алеша, позору не оберешься...

Завшахтой против, жена в сомнениях, и все-таки спустился в забой на следующий день, в ту, ставшую исторической ночную смену Стаханов с друзьями.

Около шести часов гремел его молоток. Переходя из забоя в забой, он прошел всю лаву. И когда наступило утро стахановского рекорда, подсчет показал: добыто 102 тонны угля. Норма перекрыта в 14 раз!

Участники и свидетели рекорда поднялись на поверхность. Константин Петров немедленно созвал шахтный партийный комитет и доложил итоги рекорда. Партком принял постановление и обратился с призывом ко всем шахтерам вступить в соревнование за стахановскую производительность труда.

Сразу же после заседания, в 7 часов утра 31 августа, члены парткома отправились в нарядную (помещение, где шахтеры получают наряды-задания). Здесь состоялось собрание утренней смены. Петров зачитал постановление парткома. С разных сторон раздались одобрительные восклицания. Шахтеры обнимали Стаханова, Щиголева и Борисенко. Многие говорили, что они подкрепят рекорд и постараются добыть еще больше угля.

Не сходя с трибуны, Петров записал в свою записную книжку 40 забойщиков, пожелавших включиться в соревнование.

3 сентября комсомолец Поздняков, работая спаренно с крепильщиком, выполнил за смену 9 норм. В ночь с 3 на 4 сентября партгрупорг участка «Никанор-Восток» Дюканов добыл 115 тонн угля и превзошел рекорд Стаханова. 5 сентября рекорд перешел к комсомольцу Мите Концедалову, добывшему 125 тонн угля, 9 сентября Алексей Стаханов вернул рекорд себе, добыв за смену 175 тонн.

У новаторов «Центральной-Ирмино» появились последователи во всем Донбассе. В Горловке перекрыл все рекорды Никита Изотов. 11 сентября на шахте «Кочегарка» он вырубил за смену 241 тонну угля (а спустя некоторое время довел рекорд до 640 тонн).

Маленькая, в несколько строчек заметка, появившаяся 2 сентября 1935 года в «Правде», разнесла по всей стране весть о трудовом подвиге Стаханова. Член Политбюро народный комиссар Серго Орджоникидзе со свойственным ему революционным пылом подхватил почин новаторов Донбасса. Из искры, зажженной на шахте «Центральная-Ирмино», с потрясающей силой разгорелось массовое, ставшее всенародным движение стахановцев. Во всех концах страны молодые и старые, мужчины и женщины, партийные и беспартийные почти в одно и то же время взорвали казавшиеся неприступными доты и дзоты старых норм выработки, старых проектных мощностей и ринулись вперед. Шквал рекордов, последовавший за ударом отбойного молотка Стаханова, опроверг все старые представления о производительности труда советского рабочего. Сила и быстрота стахановского движения явились результатом того, что оно было подготовлено всем предшествующим развитием страны, ее великой индустриализацией, оснащенностью новой техникой, воспитанием нового человека — строителя социализма.

Первым вслед за угольщиком Стахановым выступил машиностроитель — кузнец Горьковского автозавода Александр Бусыгин. В сентябре 1935 года он установил рекорд на ковке коленчатых валов для автомобильного двигателя. Американские кузнецы затрачивали на изготовление коленчатого вала 36 секунд, а Бусыгин довел время ковки до 32, а затем до 30,8 секунды.

Первым стахановцем-фрезеровщиком стал рабочий Московского станкозавода имени Орджоникидзе Иван Гудов. Изменив технологию фрезерования и повысив скорость резания, он 13 сентября 1935 года выполнил норму на 410 процентов.

Начало стахановскому движению в обувной промышленности положил рабочий ленинградской фабрики «Скороход» Николай Сметанин. 21 сентября 1935 года Сметанин перетянул за смену 1 400 пар обуви, а затем 1 860 пар. Рекорд, принадлежавший знаменитой в то время чехословацкой фирме Батя— 1 125 пар обуви за смену, перешел к советскому рабочему.

В текстильной промышленности прогремели имена молодых ткачих фабрики имени Ногина в городе Вичуге, Ивановской области, Дуси и Маруси Виногра-



Слева направо: Алексей Стаханов и Дмитрий Концедалов беседуют с парторгом шахты Константином Петровым. Сентябрь 1935 г.

довых. Они перешли с обслуживания 26 автоматических станков на 35, затем на 52, на 70, на 100.

На транспорте первое слово сказал машинист депо Славянск Донецкой железной дороги коммунист Петр Кривонос. Повысив форсировку котла, он повел тяжелые угольные эшелоны со скоростью 31,9 километра, а затем 40 километров в час при норме 24.

Добрые вести шли и из деревни. Звено украинской колхозницы Марии Демченко собрало в 1935 году свыше 523 центнеров свеклы с гектара. Более 500 центнеров собрало и звено ее подруги Марии Гнатенко. Обе Марии были прозваны «пятисотницами».

Прозвучал сильный голос механизаторов—трактористов и комбайнеров. Бригада Прасковьи Ангелиной выработала в среднем на трактор «ХТЗ» 1 255 га. Комбайнер Константин Борин убрал на Кубани одним комбайном «Коммунар» 780 га при норме 160.

2

Перелистайте газеты того времени... Все они заполнены сообщениями о рекордах стахановцев. Масса имен! Никогда прежде не было такого «урожая на имена», как чудесной осенью тридцать пятого года.

Журналисты набросились на горячие точки «стахановского урожая». Особенно привлекала газетчиков шахта — колыбель стахановского движения — «Центральная-Ирмино». Спецкоры московских газет прежде всего ринулись к самому Стаханову. В начале октября 1935 года, спустя месяц с небольшим после рекорда встретился со Стахановым и я.

Узнав, что он работает в утренней смене, я пришел в нарядную ко второй половине дня.

Ломка смен на шахте ничем не похожа на заводскую, когда сотни, а то и тысячи рабочих большими толпами направляются к проходной. На шахте клеть поднимает всего лишь несколько человек, смена тонкими струйками просачивается на поверхность. Надо было глядеть в оба, чтобы не прозевать Стаханова!

Вот он появился в нарядной — я сразу узнал его, хорошо знакомого по портретам. Выше среднего роста парень, рыжеватый. На голове чумазая кепочка. Удлиненное лицо покрыто слоем угольной пыли. Когда улыбается, видны крупные белые зубы. В руке отбойный молоток. Этого человека знает уже вся страна, весь мир, но по нему это незаметно, он ничем не выделяется в шахтерской толпе. Постоял, потолкался, поговорил и вместе с другими вышел во двор, пересек его и направился к поселку.

Вот тут, в пути, я и догнал его. Когда я назвался корреспондентом «Правды», Стаханов остановился, пожал руку. На его лице выразилась приветливость, не больше. Я не заметил ни малейшей рисовки, какая возникает у одних, ни смущения, как у других, при встрече с представителем центральной прессы.

Когда я начал с вопроса, не утомляют ли его журналисты, не пристают ли чрезмерно, Стаханов посмотрел на меня с любопытством и, пожав плечами, сказал: «Работа у них такая. Свою норму каждый своим молотком вырубает».

На вопрос, как работается, Стаханов ответил: «Стараемся по-стахановски». Слово «по-стахановски» он произнес таким образом, что оно не имело никакого отношения к его собственной фамилии. «По-стахановски» успело для Стаханова стать, как и для всех, ходовым выражением.

Говорил он негромко и не очень отчетливо, но чувствовалось: говорит, что думает, слов не подбирает. Мне показалось, что этот человек не сознает величия своего подвига, и он в самом деле этого не сознавал, ибо был убежден — и он сам в этом признался,— что его рекорд «при благоприятных условиях» мог совершить всякий «более или менее приличный забойщик».

Эта фраза Стаханова меня заинтересовала, и я стал задавать вопросы.

— Видишь ли,— сказал Алексей Стаханов,— удлинение уступов, что мы предложили, случалось и прежде. Разделение работы между забойщиком и крепильщиком тоже несколько лет назад испытывалось. А тут мы потребовали одновременно и уступы удлинить и труд разделить. Я один рубал в прежних восьми коротких уступах. Теперь второе: крепильщики. Я бы один сто две тонны не отбил, ежели бы за мной не крепили такие опытные горняки, как Борисенко и Щеголев, которые сами по профессии забойщики. Считай два. Теперь третье — заведующий шахтой не поверил в меня, высказался против рекорда, значит, надо было подговорить хотя бы начальника участка Машурова. Костя ему доказал, и он дал согласие на рекорд без ведома завшахтой. Это три. Теперь четвертое: парторг Костя сам полез со мной в уступ...

Костя, Костя, Костя... Парторг Костя Петров. А когда я спросил, почему же Стаханов умалчивает о самом себе, Алексей сказал: «Ну, это ты узнаешь от Кости».

У меня состоялся длительный разговор с Константином Петровым в тот приезд в Кадиевку, потом неоднократные беседы и в Кадиевке и в Москве. Из этих бесед я и получил ответ на занимавший не меня одного вопрос о «благоприятных» условиях рождения подвига Алексея Стаханова.

Петров, подтверждая в принципе стахановский тезис о том, что всякий «более или менее приличный забойщик» благодаря разделению труда мог установить его рекорд, внес, однако, важные уточнения.

— Верно,— говорил Петров,— что в конечном счете успех рекорда решала не личность забойщика, а новая система добычи угля. Недаром ведь и на нашей и на десятках других шахт немедленно повторили рекорд Стаханова, и не только повторили, но и превзошли. Но Алексей был первым... Он должен

был рекорд осуществить сначала в своем сознании. Не только повернуть в реальность его, я бы сказал, произвести большую вычислительную работу в мозгу, затем убедиться психологически в своих силах. Ему предстояло пойти на технический риск,— ведь он ставил рекорд не в одном удлиненном (на его подготовку потребовалось бы много времени), а в нескольких обычных забоях, может быть, впервые в истории Донбасса переходя из забоя в забой. Он должен был выдержать сильное физическое испытание. Далее. От него требовалась, я бы сказал, гражданская храбрость. Завшахтой не поддерживает, Алексей спускается в забой фактически втайне от администрации. Представляете, если бы задумки не получилось?.. Нет, рекорд мог быть поставлен и не Стахановым, но он должен был быть поставлен именно им, к тому же беспартийным забойщиком, воспитанным партией... Наша парторганизация много работала с такими людьми, как Стаханов, и не ошиблась...

Константин Петров был организатором рекорда — это все знали, видели, чувствовали. Но если Стаханов заслуги своего личного подвига относил к Косте, то сам Костя с той же искренностью отнес величие своего личного участия к заслуге шахтной партийной организации.

В стахановском движении Константин Петров видел победу партии. И он был прав.

3

Лет десять назад я встретился с Алексеем Стахановым в Донбассе. Он жил и теперь живет в городе Торезе.

Это бывшая Чистяковка, которую журналисты называли «столицей антрацита».

На окраине города—одноэтажный двухквартирный дом из красного кирпича. Небольшой сад с молодыми яблонями, принесшими первый урожай.

Алексей Григорьевич отдыхал, накануне он почти сутки провел в шахте, где произошла заминка на подземном транспорте. Стаханов работал помощником главного инженера, требовалось его личное присутствие.

— Знаешь, шахта — она девка капризная, может позвать каждый момент,— пошутил Стаханов.—Оттого и поселился я здесь, рядом с шахтой...

Ему было под шестьдесят, миновал шахтерский пенсионный возраст, но он собирался еще «с десяток годков потянуть».

Вспоминая о начале стахановского движения, Стаханов говорил, что теперь у Донбасса мало общего с прежним. «Работали мы прежде, как кроты, в тесной норе с обушком... Да что обушок? Теперь уже и отбойный молоток, которым я ставил рекорды, отжил свой век, увидишь, скоро снесем на кладбище».

С азартом рассказал о горных комбайнах и механизированных комплексах, которые произвели «революцию в угле».

Своеобразным продолжением этой темы явилась недавняя беседа с бывшим парторгом стахановской шахты К. Г. Петровым. Как и сорок лет назад, он живет и работает в Кадиевке. Приехал в Москву по вызову Минугля. С ним хотят посоветоваться, как лучше отметить 40-летие стахановского движения.

— Приехал бы и Алексей,— сказал Костя,— но, к сожалению, он болеет. Знаешь, ведь сорок восемь лет прозел он под землей! У нас в Донбассе говорят, что год горняка равен трем... Теперь помножь, получится чуть ли не полтора века шахтерской жизни...

Константин Григорьевич сказал, что нынешний год для Стаханова — дважды юбилейный. Дата рекорда — раз, а потом исполняется его 70-летие. И шахта «Центральная-Ирмино», и вся Кадиевка, и весь Донбасс это отметят.

Мы заговорили о прошлом стахановского движения и его отзвуках в современном социалистическом соревновании.

Вспомнили о Всесоюзном совещании стахановцев в Кремле в ноябре 1935-го, на котором выступали и первые стахановцы и виднейшие деятели партии и правительства.

Серго Орджоникидзе сказал тогда: «Стахановское движение становится народным движением верных сынов социалистической Родины». Руководству стахановским движением был посвящен специальный Пленум ЦК в декабре 1935 года. В нем участвовал и К. Г. Петров.

— То было утро стахановского движения,—сказал, делая акцент на слове «утро», Константин Григорьевич.— А своего зенита — это слово он тоже произнес подчеркнуто — оно достигло в годы войны, во Всесоюзном соревновании тружеников тыла...

И после небольшой паузы продолжил:

— У солнца после зенита наступает закат. Но никогда не знало заката стахановское движение, никогда... Потому что оно, как бы сказать точнее, отдавало свой свет, переливало свой опыт в новые формы соревнования. Вот в газетах пишут о трудовой эстафете поколений. Мне нравится это выражение. Так вот, стахановцы как бы передали эстафету ударникам коммунистического труда...

Петров вынул из своей папки вырезку из газеты «Комсомольская правда» от 9 января 1975 года с текстом письма Л. И. Брежневу от комсомольцев Москвы — победителей соревнования, которые первыми в стране удостоились чести сфотографироваться у Знамени Победы.

Они писали Генеральному секретарю ЦК КПСС: «Каждым прожитым днем клянемся утверждать на земле коммунизм, трудиться по-стахановски, по-гвардейски...»

— Видал? — воскликнул Костя Петров.— Жив и не стареет девиз наших времен: трудиться по-стахановски!

●



Инна
КОШЕЛЕВА

ВЫБОР



Сначала, в Москве, она мне понравилась. Догадываешься, конечно, что ей за сорок, но выглядит уж очень молодо. Медные волосы. Того же оттенка румянец, точно очерченные темноватые губы (позже узнала, что смуглость ее лица — от больного сердца, что она перенесла уникальную по сложности операцию). Поражали ее зеленые — тоже в полный цвет — глаза. Еще легкая походка — ранней весной она вышагивала по снегу и лужам в тонких лаковых туфельках быстро-быстро...

После она мне разонравилась — в какой-то миг я не поверила ей. В вагоне. Она рассказывала о своем бывшем классе. Когда-то, до нынешней, не особо нравящейся ей научной работы, школа была для нее всем — да вот сердце подвело. И тогда ее класс (от пятого до десятого вела), ее ребята поклялись не расставаться. Сейчас совсем взрослые, женатые и замужние, частенько собираются к ней на воскресный обед. Одиннадцать пар, как одна семья, двадцать третья — она сама, двадцать четвертый — ее приемный сын, тоже из этого класса, сложная у парня биография... Вчера как раз пекла пироги, варила борщ в ведерной кастрюле...

А я думала: ну, не сложилась у человека жизнь, бывает. И вместо того, чтобы быть честно, одиноко несчастной, она придумывает себе счастливую версию, восполняет недостаток кровных или дружеских связей каким-то взрослым «детским садом»...

Была я усталой, замотанной, в плохом настроении и оттого, видно, недоверчивой. Впрочем, все-таки справедливо отметила: не интересничала она, рассказывала просто. А после я Елене Николаевне поверила. И приняла жизненный урок, преподанный ею.

Я с группой московских педагогов ехала знакомиться с делами в сельских школьных «продленках». Со мной было письмо. Его дали мне в редакции: «По пути поинтересуйся, раз уж в эти места едешь... Учительница молодая, а вся в сомнениях...»

Я прочла письмо уже в командировке, в гостинице. Попросила Елену Николаевну:

— Почитайте, какое-то странное...

«Дорогая редакция! Мне 25 лет,— писала молодая учительница.— В прошлом году закончила педагогический институт и вот больше года живу на селе. Закончила факультет иностранных языков. Преподаю немецкий. С одной стороны, знать язык — это прекрасно, но кому он здесь нужен? Здесь я утром встаю, чтобы ждать вечера, вечером жду субботу, чтобы уехать в город, хотя бы на часы забыть все. Так пройдут три года. Раньше не отпустят—молодой специалист. Будет мне 28. Лучшая, третья, часть жизни пройдена. А для чего живу — не знаю, не поняла. Личной жизни нет (а меня считают недурной), работа не греет (а говорят, не дура). Видно, судьба такая. Пришла я к такому выводу — судьба. И не зря, видно, цыганка на вокзале однажды мне сказала: «Ты одна среди толпы. Когда вокруг радуются, ты плачешь, людям веселье — тебе горе». Не презирайте меня. Глупо, конечно, верить гадалкам. Но совпадает. Вот и сейчас девочки — тоже учительницы — в соседней комнате общежития радуются, пьют вино, слушают музыку. Приехали друзья, подруги из города, а я сижу и пишу это письмо...

Алла».

Елена Николаевна задумалась.

— Вы поедете к ней?.. Возьмите меня. Может, помочь ей нужно, а?..

Мы разбегались с утра по школам и возвращались уже к ночи, когда давно затихали ребячьи сборы в пионерских комнатах и вечера в залах. Мы не заметили, как у группы появился «главный». Так уж вышло, что «горячие точки» нам намечала Елена Николаевна. Вечерами она же сводила наши отчеты в единый, подсказывала, что́ кому надо еще «добрать» для полноты картины. К концу недели проблемы «продленки» лежали перед нами, как горошины на ладони. Только тогда и заметили, как много она взяла на себя в работе. Да разве только в работе? Елена Николаевна была организатором всего нашего бытия. При ней жизнь как-то уплотнялась, приобретала радостный оттенок. Вот она колдует над красивым фарфоровым чайником (нашла-таки в гостинице, весь в сочных яблоках, веселый, праздничной росписи). Зеленая льняная крахмальная салфетка у нее своя. Обдает кипятком чайник, обязательно покрывает его салфеткой и разливает, наконец, неторопливо — чай густой, горячий, светящийся бордово изнутри. Веером нарезана свежая булка. Рядом тонкая вазочка с цветами — Елене Николаевне подарили их местные педагоги... Прижались к батарее ее лаковые туфли. Мокрые, конечно. А рядом резиновые сапоги — принесли здешние учительницы. И я, в общем-то равнодушная к командировочному быту и житейским деталям, вдруг с удовольствием отмечаю, какая теплая наша комната и обжитая. И как хорошо подчиняться Елене Николаевне...

К Алле выбрались в субботу. Шофер был недоволен.

— Знаете, сколько будем пилить по такой погоде?

Погода была предвесенняя. Влажный и теплый ветер, снег, перемешанный с глиной проселка. Белое и коричневое, белое и рыжее. «Газик» шел под гору, то скользя юзом, то упираясь в ледяное крошево.

В Подгорном мы сразу узнали школу — старое, бревенчатое здание. Большое и потому кажущееся низким. Внутри оно было теплым и уютным. Около учительской на корточках присели двое малышей. («Вы чьи?» — спросила Елена Николаевна. «Мы — химички»,—и дальше мусолят конфеты.) Сельская, совсем своя, совсем домашняя школа. В большой комнате много озабоченных женщин разного возраста и похожих друг на друга именно этой озабоченностью. Алла была иной, ее мы сразу узнали. Она и сидела особняком. Если бы сделать моментальный снимок, вышло бы так: другие в движении, в разговоре, в наклоне друг к другу; Алла — поодаль, одна.

Она была красива той завершенной, бездефектной красотой, которая даже теряет от своей завершенности. Огромные темные глаза никак не отреагировали на наше появление, только чуть-чуть проступил на щеках румянец... Наглаженная, накрахмаленная. На белоснежную блузу накинула пальто...

Мы старались идти от нее в стороне, из-под сапог так и рвалась во все стороны жидкая глина. На моей старенькой шубке почти до пояса — рыжие кляксы. Ведь в селе мы да в распутицу, не по асфальту идем!.. Но новые, щегольские сапожки Аллы отражали и лужи и небо. Она шла мягко, с камушка на веточку, чуть замочив подошвы. Я не знала еще, что этот малый факт вдруг расшифруется, как емкая жизненная метафора.

Мы шли к двухэтажному совхозному общежитию. А прямо перед нами разыгрывалась живая картина: мальчик, сельский здоровяк лет двенадцати, дрессировал собаку. «Ну, пожалуйста, будь добра, возьми палку»,— не словами, а всем существом просил мальчик. «Ну, будь добра, барьер!» — прыгал он, показывая пример, через бревно. Лохматая, грязная дворняжка удивленно склоняла голову, поднимая одно ухо.

Он ловил ее, она норовила убежать, и мальчик прижимал ее, мокрую, грязную, к себе, прижимал по-доброму и просительно.

— Ваш ученик?

— Да, из пятого...

— Как зовут?

— Не помню. Фамилия Васнецов, как у художника...

— Зверей любит? — расспрашивали мы Аллу.

— Не знаю.

— А кто у него родители?

— Не знаю, мой шестой класс, а он из пятого.

В одном селе, в одном совхозе, в одной школе, где нет и двухсот ребятишек,— и не знать про этакого симпатягу ничего, кроме сухой информации из классного журнала...

Но это не было последним мигом нашего удивления...

В общежитии было все как в общежитии. С дивана испуганно вспорхнула пара, и через минуту парень и девушка обнимались уже в теплой кухоньке.

— Кажется, в это воскресенье у них свадьба. Это наша учительница, физик,— объяснила Алла.

— А он?

В ответ все то же безразличное: «Не знаю».

От нас к милующимся, из кухоньки—к нам топал малыш, восторженно лопоча что-то на своем односложном языке.

— Как зовут ребенка?—спросила я Аллу.

— Не знаю.

— Мальчик? Девочка?

Она лишь пожала плечами.

Все это было необъяснимо, почти неправдоподобно. Кроха топала рядом — синеглазая, легковолосая, доброжелательная.

— Чей ребенок? — Я злилась, я упрямилась в своих расспросах.

— Кого-то из соседей, учительский.

Поистине глина не липла к ее ногам. Вернее, она сама умела ходить, не касаясь земли. Жила она наконец или не жила в селе целый год? В селе такая близость, диктуемая бытом, всем строем деревенской жизни, что не выделишь одного из общего. А эта одна.

Ее стол в уголке, самый чистый. Стопка тетрадей, стопка словарей, стопка «Иностранной литературы». Моруа, Дос-Пассос, Фолкнер — весь джентльменский набор современного интеллектуала при ней, все читала. Впрочем, говорит без особого энтузиазма.

— Себя или «около себя» я у них не нашла, у этих писателей.

Какая странная мысль «искать себя» у цыганки! (Помните про гадания — из ее письма?) Какая прихоть—у Фолкнера!

— Да ведь у Фолкнера каждый единствен. Зато как интересен. Мир интереснейших, единственнейших людей.

— Пожалуй.

Я уже жалела, что увела ее от исповеди — ведь для этого и письмо, для этого откровенность («Себя у них не нашла»). Один бы вопрос, одна бы просьба

расшифровать эту фразу... Елена Николаевна просит Аллу:

— Расскажите нам о школе, о ребятах. О себе.

— Вот, пожалуйста, кофе. Растворимый. Чашки красивые? Это я в Риге покупала. Мне понравились.

АЛЛА (из ее рассказа о коллегах):

— ...Итак, о коллегах. Жаловаться грех — коллектив мне попался сильный. Самая интересная из всех — директриса. Три языка знает, античность, Гомера — наизусть, и так далее. Занимается, читает день и ночь. Вы ее видели. Худенькая такая, стрижена под мальчика. Да, очень молодая, ей и двадцати пяти нет. Уважать? Я уважаю. Только уж очень отчетливо вижу, как она из себя «делает» героя какого-то, народника. Встает в шесть утра, и обязательно — на наряд в совхоз, меня один раз попросила тоже. Там родители все. С ними, говорит, у начальства для школы краски-доски требует.

Купила себе мотоцикл, гоняет по дальним отделениям все к тем же родителям, да в райцентр за книгами или на фильм новый, ну, Крамера или Данелии. Этих желает на большом, нормальном экране. Купила магнитофон, купила пианино—играет вечерами, слушает Баха. Живет одна, пары ей здесь нет...

Как я приехала, она меня к себе пригласила. Ну и стала мне всякое рассказывать. И о том, как птичка-пташка на колоске раскачивается, и какие здешние родители отзывчивые, искренние, и какие ребята благодарные за теплоту и эрудицию. Второй раз я к ней идти отказалась. И понимаю, что в этой — ну как назвать? — наивности, уверенности цельнокроеной — и сила, и движение, и жизнь сама. А нет ее у меня, где взять? Только раздражает это все. Пусть живет так, если... не сломается.

...Вторая — Тамара, пионервожатая. О ней я ничего не знаю. И подойти боюсь. Потому что она... талантлива. Ее ребята любят. Только и слышишь в классах: «Тамара Николаевна сказала...»

Вот здесь и произошло то неожиданное, что в самом зародыше убило ироничную, чуть-чуть злую Аллину разговорчивость. Елена Николаевна как-то вдруг и неловко взяла Аллину руку:

— У вас тоже так будет. Вы не отчаивайтесь...

Алла резко вырвала руку.

— А я и не хочу! Мне не надо. Я не завидую...

Впервые по неподвижному, красивому лицу двинулась тень, боль, злоба. Алла встала:

— Вам пора ехать. Не то стемнеет.

В машине я молчала. Думала: все-таки жаль, что разговор оборвался на полуслове — Алла так и осталась неясной, и неясны причины ее странного одиночества среди людей.

— А вы знаете,— Елена Николаевна сказала совсем уверенно,— она придет к нам сама, найдет нас. Ведь она написала, значит, люди ей нужны.

...Мы снова в гостинице. Как в другую реку вошли, в другое течение. Еще в «молодежке» редактор, поучая нас, говорил, что человек должен, просто обязан каждый день, каждый самый будний день украшать для себя. Делом—посадил дерево, прочел книгу. Точкой зрения, настроением — увидел закат, не глянул, а увидел. Человек сам созидатель полноты жизни... Тогда это казалось банальностью. Что поделаешь, время и опыт часто обращают «банальности» в истину. Часы и минуты рядом с Еленой Николаевной как бы сами собой прессовались, обретая взрывчатую силу. В тот вечер после визита к Алле мы смотрели хоккей. Первенство мира. Мы сами напросились в комнату к монтажникам, украсившим свое долгое командировочное бытие прокатным телевизором. Елена Николаевна поила чаем обездомевших и потому в чем-то жалких и беспомощных мужчин. А потом все замерли. Она охала, видно, там, где нужно, и реплики ее, видно, были к месту, потому что вскоре была буквально окружена тем почтением, каким болельщики окружают лишь подлинного знатока дела. Я тоже с волнением следила за «тройкой Шадрина» и «тройкой Петрова», удивляясь азарту в себе — откуда? Откуда это — когда сердце катится и замирает?

А ночью мы не могли заснуть и говорили об Алле. Почему она такая «не такая»? Почему так внутренне одинока?

Я неуверенно предположила:

— Может, просто... не хочет толком заниматься детьми, школой?

— Ну, что вы,— не дала договорить Елена Николаевна.— Нет, она труженица. Здесь, в селе, она на уровне — все новинки литературы, все педагогические последние издания, в которых есть толк. И тетради — я заглянула — это все выписки на иностранных языках, два знает отлично вместо положенного одного. Вот на уроке мы не были. Но я побываю.

— Вы еще поедете к Алле?

— Непременно.

И продолжала:

— Одиночество бывает разное. Недавно я смотрела прекрасный грузинский фильм «Пиросмани». Там эта тема — тема одиночества человека. Но там одиночество богатое. Это одиночество творческое — для чего-то. Для того, чтоб людям подарить прекрасное. У Аллы, в этом вы правы, одиночество «почему-то». Где-то, на каком-то отрезке, изломе жизни так изменился ее характер, что она словно очертила вокруг себя невидимую линию: за нее к людям не выходить, их в круг не пускать. Мне даже почудилась осознанность этого отрешения от связей, отношений, общения. Впрочем, посмотрим.

В Москве я на третий день получила открыточку от Елены Николаевны—она осталась в селе еще на месяц, и вот писала мне.

«Скучаю без вас—привыкла... А Аллин урок (я на него все-таки пошла, вернее, поехала) был плох. В моей школе такой бы просто сорвали. «Семенякин, расскажи о прошедшем времени в немецком языке». Послушный, как и большинство сельских ребят, Семенякин вставал и затягивал речевые периоды, рассказывал от начала до конца. «Правильно». Семенякин-манекен садился. И ни искры не пробежало, ни слова живого не родилось за все сорок пять минут. А язык она знает прекрасно, читает в подлинниках Томаса Манна и Ремарка».

И следом еще открытка.

«Была у меня в гостинице Алла. Мы просидели с ней почти всю ночь. Коридорная тишина располагала к откровенности. Это было как сигнал бедствия. Тону! Друзей у нее нет. А когда идешь не туда, куда все, не так чувствуешь—оттого, что ты «не такая», хочется понять, какая же ты?

Мне оставлены тетради, дневники, написанные Аллой не за событиями, а сейчас, при попытке разобраться в себе. Начинаю кое-что понимать. Прочитаю и, если получу разрешение Аллы (пока она согласна на сторонний анализ своей жизни, даже просит о нем), пришлю вам вместе со своими мыслями по этому поводу».

...Большую бандероль я вскрывала с нетерпением.

Знакомый почерк Елены Николаевны:

«Как я и думала, все здесь началось с «разочарования» в жизни. «Разочарование»... Слово смешное. А понятие довольно типичное для юношеского мироощущения, и потому для журналиста интересное, верно? В дневниках Аллы карандашом отметила три факта — это как три бетховенских удара судьбы. Три грустных, тяжких случайности. Может, кто-либо другой их просто не услышал бы и не связал друг с другом — счастливый, легкий человек. Еще кто-то преодолел бы или отбросил. В Аллу они вошли: вплелись в ее характер, сделали ее одинокой».

АЛЛА (из дневника):

«До одиннадцати лет я жила дома, на самом краю рабочего поселка. Отец — мастер на деревообделочной фабрике, мать — домохозяйка, и сестренка, на два года старше меня. Дом я любила — деревянный потолок, деревянный пол, и весь он какой-то честный, ни на что не претендует. Выйдешь во двор, посмотришь вверх, еловые лапы на солнце сверкают, аж слепят, а внизу чуть дрожат их тени. Гуси ходят. Дом и сейчас есть. Такой же. Только сейчас я его таким бы не увидела. Это только в детстве. Сарай еще во дворе. Тогда там стояла корова Серенькая. Сопит, жует сено Серенькая, а сама на тебя косит грустным глазом. Бывало, встану в дверях и чую живое тепло от Серенькой — так и дышит им сарай, так и пышет. Позже, когда уехала к тетке в город, в чистую и холодную квартиру, чаще всего тосковала по Серенькой. Тосковала по матери, по отцу, по сестренке, а кожей ощущала это живое, пахучее тепло, в которое окуналась, как в воду.

Помню каникулы после пятого класса. Каждое утро просыпалась и чувствую: ближе отъезд. И словно не сердце у меня, а мешочек боли. Маленькая была, а ощущение совсем взрослое — вот-вот не выдержит, вот-вот разорвется, и тогда наступит что-то совсем нестерпимое. Увозили, плакала, цеплялась за маму.

Плакала и мама. Белая косынка стягивала ей лоб по-атамански, и вся она была большая, уютная, так и хотелось ткнуться ей носом в бок, да так и остаться, замереть, ни о чем не думая, и освободиться от той боли, что внутри.

«Не бьет же тебя Клавдия»...— прятала мать глаза. Тетка Клавдия меня не била. Но почему Ирка оставалась здесь, а я...

— Ты способная. Тебе в городе учиться надо,— уговаривала мама.

А горе разлуки было нестерпимым. И сейчас думаю, может, лучше учиться было в поселке? Вон Ира какая. Веселая, удачливая. На фабрике уважают ее. Жена она покладистая, ребенка ждет. Тогда полгода еще я каждую ночь плакала у тетки. У хорошей и заботливой тетки, которая заставляла мыть руки в день столько раз, что, казалось, ладони сотрутся. А потом решила: хватит! Как окно закрыла, как отрезала — не думать о доме! Тогда и родился мой опыт разделываться с больным в себе. Не вытравлять, не переламывать потихоньку, а сразу обрывать этот вой внутри. На тоску по дому — запрет. После шестого класса за все летние каникулы к Серенькой ни разу не зашла.

Уже совсем недавно на вокзале в Симферополе я увидела ужасную сцену. Старая женщина и двое дочерей. Женщина душевнобольная, а мания у нее такая: дети бросили. Плачет в голос, а дочери — тут же. Успокаивают ее, объясняют. Чуть притихнет, а после снова. Весь этот ад в ее душе прокручивается и прокручивается. В ту минуту, на вокзале, я подумала, что и одного раза не хотела бы пережить такой муки. С детства это у меня — страх перед привязанностью. Ведь любая привязанность кончается...

По мальчишкам и девчонкам, с какими училась до десятого, скучать не пришлось. В институт по первому разу провалилась — вот тебе и отличница, видеть никого не хотелось. Работа в заводской лаборатории — это временно. В институт я все-таки поступила. Поначалу старалась жить так же, сама по себе. Училась легко. Еще читала. О чужих страстях. И радовалась, что нашла простой секрет избегать их, ни к кому не прикипая сердцем. Ведь если осознать это, можно избегать сердечных ловушек заранее».

Здесь же, между страницами, был вложен листок, исписанный рукой Елены Николаевны.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (комментарий):

«Не знаю, возникало ли хоть раз в вас желание «навек избавиться» от любви к людям. Но это бывает. В очень трудные минуты — болевые, страшные. Я знаю, как это случается. В отроческие годы меня тоже постигла разлука с близкими: в один послевоенный год от тифа у меня умерли мать, отец, бабушка, брат. Болезнь сердца—наследство той поры. «Ничего нет, ни любви, ни счастья,— думала я,— если можно потерять все разом». Осталась одна, месяц лежала, не вставая, было противно жить. А после встала: умирала от тифа соседка, надо было помогать. После— работа в пионерском лагере, нужна детям. После школа—опять я нужна. В юности важно это чувство занятости, нужности другим.

В том воздухе, который наполнен заботой о других, заботой-нормой, заботой-привычкой, юное сердце становится мудрым. Оно учится сложности людских отношений. Учится терпеть боль достойно, учится страдать, если можно так выразиться, и страдать умело, то есть терпеливо изживая боль, а не обрывая ее обезболивающими, злыми и удобными для себя выводами — удобными в данный момент, но обедняющими и калечащими дальнейшую жизнь.

Аллу же в семье выделили: «Самая способная», «надежда». Как прожектором высветили, и все ее внимание на самое себя обратили. Не столь уж редко это сейчас, в нынешних семьях. Ребенку обещают с малых лет лишь счастье. Только счастье. Социологи называют это завышенными социальными притязаниями. А жизнь ведь не розового цвета. И после, вырастая, человек требует счастья, хочет его потребительски яро, добивается его, покоя и счастья, любой ценой, даже разрушая себя, свою личность».

АЛЛА (из дневника):

«...Это о том, как мои принципы дали осечку. «Пора пришла, она влюбилась...» Нет, я даже не влюбилась, я позволила себе обрадоваться, что влюбились в меня. Он смотрел на меня все лекции и опускал глаза, когда я оборачивалась на его взгляд. После мы гуляли, и было вместе просто и привычно, как, наверное, и должно быть в любви. Он оставлял по моему слову свои любимые занятия, но это, пожалуй, все, что мог он бросить ради меня,— я ничего не хотела, ничего не просила. Однажды он очень грустно сказал:

— Ты не злая, ты не добрая, ты чужая.

И когда подруга сказала мне:

«Какой у тебя красивый парень»,— сердце екнуло и покатилось. И, почувствовав слабую, ноющую душевную боль, я, конечно, сказала: «Бога ради, бери себе».

Подруга засмеялась: «Можно?»

На другой день, войдя после занятий в комнату общежития, я увидела его и свою подругу. Подруга

бегала из комнаты в кухню и приносила блины. Горячие, по одному, чтобы ему — свежие. Через месяц они поженились. Я утешила себя: зато все можно начать сначала, зато свобода».

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (комментарий):

«Вы не думаете, что так легко пережить крах первой любви? Нет, здесь Алла даже перед собой не открывает своей боли.

Уверена, что именно здесь, в этой истории первой любви — поворот, здесь окончательный выбор. Тот выбор, который каждый человек делает в юности. Речь идет не о чем-то конкретном, скажем, стать ли человеку токарем или врачом. «Или — или» другое: в юности человек выбирает себя в этом мире. Какую позицию ему занять, как относиться к своим собратьям. Знания, какой-то опыт уже накоплены. Наступил момент, когда ему нужно мировоззрение как практическая философия жизни. Алла выбрала «свободу».

Свобода! Стоп! От чего свобода и для чего? Вдумайтесь, свобода сама по себе—так, ничто, пустое пространство. Точнее — черная дыра, в которую утекает «вещество» души.

Боже мой, как тоскуем мы подчас по этой освобожденности от всех обязанностей и всех моральных долгов! Тоскуем по невозможной этой возможности все начать сначала.

Совсем, совсем недавно жизнь еще раз напомнила мне, как плотно пригнана моя судьба — впрочем, как и все людские судьбы,— к своим рельсам. Пущена — и не свернешь! Маленький молдавский городок, большая швейная фабрика. Приехала сюда читать лекции, и здесь все так, как должно быть среди людей. Прекрасный коллектив, отличные отношения, при удивительно четком ритме работы — высокое, уважительное отношение к каждому работающему. Мелькнула мысль: остаться здесь подольше, посмотреть, потрудиться со всеми — какая при фабрике вечерняя школа! И директор... Ах, пожить, пожить можно как! Восторженно, страстно, умно! Странная мысль, безумная мысль. А работа? А дом? А сын? А друзья? Может, и правда, Тирасполь — это хорошо, это то, что мне нужно, да только...

Чтобы утешить себя, я начинаю в подобных случаях представлять собственную свободу на манер арабских сказок: хочу — так сделаю, хочу — этак. Представляю себе, какой я должна быть для этого? Да никакой! Нулевой. Потому что мое «я» складывается частично из моей работы. «Я»—это мой дом. «Я»—это мои друзья и мой сын. Это все мое прошлое, и даже прошлое отцов, которое определило мой сегодняшний, а в чем-то уже и завтрашний день. Чувствуешь себя Гулливером, у которого каждый волосок прикреплен к земле: повернешь чуточку голову — уже больно. Но эта же боль и говорит тебе, что ты — человек среди людей, что ты нужен. Человеку нужна причастность. «Счастье» и «причастность» — от одного корня. Счастье — соучастие в общем деле. И потому свобода без долга и обязанностей — постылая, пустая свобода. Истинно человеческий поступок — сплав свободы и необходимости. Потому что человек — он не один. Он и должен быть «узами связан» и соседом уже ограничен. А «легкое» одиночество — тяжелейший груз в мире. И Алла не была свободной. От себя. Знаете, как получается? Сначала создаешь принципы и правишь ими. Наступает момент — ты и не заметила! — а уже они правят тобой.

«Представила,— рассказала Алла,— что завтра все по-прежнему, и он рядом. А я... Я ничего дать ему не могу, не умею. И ближе не стану, не знаю, как. И такая пустота с тревогой! Это как боль наоборот, и тянет и саднит, только не остро, а тупо».

АЛЛА (из дневника):

«...Но работать я собиралась хорошо, по совести, по правде. Так бы и было, если бы... если бы... Если бы не Михалев. Такой злой мальчик, грубый, из моего шестого. Решила родителей навестить. Пришла, а у него, оказывается, мать одна. Скрывал, что отец ушел. И мать-то пьяная. Лежит на голой кровати в бесчувственном состоянии. Холод, на столе немытые засохшие жестяные миски. Я в общежитие прибежала, взяла простыни, одеяло, сахар, консервы. Мальчика дома не было, я все оставила, соседку попросила за ним присмотреть. На другой день в школу он не пришел. Явился дней через пять. Подошел ко мне после уроков со свертком. Комом все белье затолкал в грязный мешок.

— К нам,— говорит,— больше не ходите. Мама у меня хорошая,— с вызовом таким.— Подачки нам не нужны, а то школу брошу.

Ну, отстала я. Через ненависть эту его переступить не пыталась».

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (комментарий):

«...Вот здесь я не выдержала. Я Алле написала. О чем я писала в письме? О том, что нельзя отступать.

Если бы я вот так же отступала! Сколько бы учеников (в истинном, широком смысле этого слова) я бы потеряла! Да разве можно перед лицом этого мальчишеского бедствия думать о себе, о каких-то своих обидах?

Так и писала, что стыдно это, непорядочно это. И жалела, что тогда, в гостинице, не стала доказывать Алле бедственность ее принципа — не привязываться ни к кому душой, быть внутренне одинокой. Но как доказать это с помощью логики, рассудочных построений? Могла я гарантировать ей удачу на этом пути «горячих» человеческих контактов— дружб, любвей, привычек? Скорее, будут синяки и шишки, обиды, разочарования. Какой уж тут душевный комфорт? За одно можно ручаться — за полноту жизни. Для многих именно она — синоним счастья. А для других? В том-то и дело, что, решая ту проблему, о которой идет речь, мы решаем, каким будет весь строй нашей внутренней жизни. Дело не только в мировоззрении — скорее, в мироощущении. Правоту или неправоту Аллы, ее виновность или невиновность перед собой самой могла доказать лишь жизнь. Прочитайте последние ее записи — жизнь уже кое-что доказывает!»

АЛЛА (из дневника):

«Стала я свою судьбу, вроде бы, испытывать. На свободу. Могу собой распоряжаться, как хочу. Кончались студенческие годы. Хуже других предметов мне давалась история. И я, которая была студенткой старательной и педантичной, вдруг решаю: учить не буду. Великую французскую революцию знаю, а там хоть трава не расти! Сажусь на самолет и лечу в Сочи. Пляж, теплая галька, пять дней полного покоя — обо всем заставила себя забыть. Назад прилетела за час до госэкзамена. Тяну — моя революция. Пятерка! Это было похоже на опьянение! Какая же это была радость оттого, что выиграла! День тот запомнился ярко, в мелочах, летний день, но не раскаленный, не пыльный. Доска, доцент, кивающий в такт моим словам, и четкость мысли, вдохновение, на котором говорю.

После «испытания» продолжила. Сначала решила перед работой не записываться в студенческий отряд, а в последний миг передумала. Проводником в поезд на Хабаровск! Пришла в резерв проводников буквально за час до рейса. Одно место есть. Но надо найти начальника резерва, начальника станции. Как я бегала! Сделала невозможное: оформилась и поехала. Это был хороший месяц, отчаянный какой-то, прошедший впопыхах. Байкал утром, волокнистая дымка, прерывистый сон под стук колес, лица пассажиров. Словом, мне казалось,— нашла я способ жить интересно, ярко. Потом поняла: нет.

Это было, когда я бродила по городу. В предвечерний летний час в меня часто входит тревога. Зимой что, зимой всем неуютно. Сидишь, круг света от настольной лампы — и ты в нем, как в крепости. А летом весь мир движется, дышит, звучит. Где-то стукают в волейбол, где-то во дворе баян пробуют. Вот-вот красное солнце закатится за дом. Вот в такой-то миг и оказалась я у кинотеатра. Толпа беснуется: «Фантомас» какой-нибудь, не помню что. Подростки с ума сходят. Как за спасение, ухватилась я за мысль: «Достану билет, достану, достану». Встала и прямо гипнотизирую прохожих: «Мне билетик, мне». Перехватила я билет! Вот он, голубой символ удачи...

А в кино я не пошла, не хотелось. Отошла и на другом краю толпы продала. И поняла вдруг, что просто добиваться чего-то — бессмысленно. Даже не билетика, а большого успеха — ну, там, в личной жизни, в карьере. Нужно, чтобы сердце хотело...»

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (комментарий):

«...А она приучила сердце молчать. Нелепая затея подменить страсть азартом, любовь удачей. Я всегда подозревала, что игроки всякого рода, начиная от карточных, совсем не увлеченные люди. Напротив, ничем не увлеченные, ни к чему не привязанные. Жертвы пустоты. Перебор возможных вариантов при неимении единственного собственного — как видна эта бедность перед лицом несметного богатства подлинной жизненной полноты. Вот она откуда, странная «вера в судьбу», вера в возможность «угадать» свою линию. Не выработать, как принято очень точно говорить, не заработать, а так — случайно угадать.

Все это я сказала Алле. Как ни странно, после злого моего письма она примчалась в гостиницу. Сидела на краешке стула, смотрела не то жалкими, не то обожающими глазами. Я, конечно, поила ее чаем и вот говорила. Представляете, какой из меня оракул?»

АЛЛА (из дневника):

«И еще... путешествия. Говорят, это комплекс одиноких. Я полюбила ездить. Иногда вылетала на день в Москву, в Ригу, съездила на КамАЗ.

Поиски своего варианта в пространстве».

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА (комментарий):

«Вспомним мудрых и добрых.

Педагог Сухомлинский: «Равнодушие — одеревенение и окостенение сердца. Оно ведет к индивидуализму».

Выбирая между болью и равнодушием, Алла выбрала в начале своего пути равнодушие.

Вспомним великих.

Пушкин: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать».

Он-то знал, что «страдая», чувствуя, нельзя беречься, и от боли нельзя беречься. И так лучше не только для тех, кто рядом, но и для себя самого. Полнота отношений (чем любая встреча может обернуться, какой она сулит диапазон чувств — от счастья до полного отчаяния!) — самоценна. Только попробуй, докажи логически, что тосковать лучше, чем подавить тоску, что любовь с ее изматывающими тревогами интереснее, чем безлюбие. Эта мысль — ведь и не мысль даже, а сгусток всего жизненного опыта человечества. Мудрость. А какая мудрость в юности, в начале пути? Да, это — одно из острых противоречий жизни. Я много думала, как разрешить его.

С интересом прочла я в «Новом мире» письма большого русского советского физиолога Ухтомского. Письма — о доминанте. До той поры «доминанта» из курса психологии была для меня лишь объяснением некоторых особых, «концентрированных состояний человека, таких, как творчество, страсть. После этих писем поняла, что доминанта должна использоваться каждым человеком как механизм «включения» в общество. Прекрасная «доминанта на лица вне меня». Применительно к Алле это была бы и тоска по маме — горькая и открытая. Это борьба за любимого — со стремлением понять его, угадать его, почувствовать его. Это и увлечение работой — боже, как счастливы те, что поглощены своим делом!».

Я позвонила Елене Николаевне в далекую гостиницу. Первые слова ее:

— Опять была в Подгорном. Нет, не вообще о жизни говорили. О ее учениках, о ребятах. Видела я того самого Михалева, помните, что вещи вернул. Так, человечек средней трудности. С директрисой решили, если что — в интернат его взять. Да, завтра выезжаю. Домой, домой.

...В час дня на перроне, кроме меня, слонялся один парень. Простой, угловатый.

— Славка, зачем? Снова отпросился? — кинулась к нему Елена Николаевна, и я поняла, что это тот, что не кровный, из «взрослого детского сада».

— Я ненадолго, на обед.— А сам берет крепкими руками работяги ее маленький чемоданчик. И ее лаковые туфельки кружат вокруг него, и вся она сияет... Увидела меня. Тоже рада.

Счастливая. Обмен «я — люди» у нее идет нормально, и не хандрит оттого, что нет в ее жизни каких-то бесспорных примет счастья.

Мы пили наш очередной чай у Елены Николаевны.

— Вам пишет Алла? — спросила она.

— Нет. Часто о ней думаю. Хотелось бы... ну... дружить с Аллой (скажем это смешным детским языком). Но есть что-то в людских отношениях сильнее наших сегодняшних желаний и нежеланий. Она-то, Алла, недружественная.

— Ну, вы и впрямь убедите меня в фатальности всего происходящего,— засмеялась Елена Николаевна.— Вот прочтите, нет секретов.

АЛЛА (письмо Елене Николаевне):

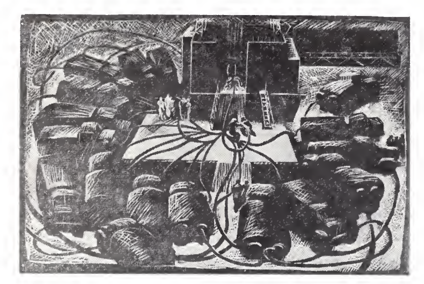
«Дорогая Елена Николаевна! Как жаль, что я не встретила вас раньше. Впрочем, хорошо, что не раньше, а сейчас, когда я эту необходимость так ясно понимаю. В школе у меня по-прежнему не ладится, и Михалев все такой же. На днях я с ним говорила...»

Весной, когда Елене Николаевне было плохо, прилетела к ней Алла. Они со Славкой возились в тесной кухоньке, а Елена Николаевна, словно извиняясь передо мной, говорила:

— Не звала. Кто думал? Бросила школу, сорвалась, прилетела...— Задумалась.— Впрочем, когда наверстываешь, спешишь, впадаешь в другую крайность...

Тюменская проба

(К 3-й странице обложки)



П. ЧЕКАНЦЕВ. Заливка скважины.

Летом прошлого года журнал «Юность» в очередной раз отправлял на подшефную стройку железной дороги Тюмень — Сургут — Нижневартовск группу студентов из Суриковского художественного института. Запомнилась первая встреча с ребятами. Они пришли в редакцию за несколько дней до отъезда — все шестеро: Юрий Ванчунгин, Валерий Павлюченков, Григорий Соколов, Николай Федоткин, Петр Чеканцев, Роман Эйхорн. Пришли и стали как-то очень робко и деликатно интересоваться житьем-бытьем на стройке. После первых минут разговора взяло нас сомнение: а стоит ли посылать этих мальчиков в столь дальнюю и многотрудную командировку? Ведь не всякому, даже очень опытному путешественнику под силу такая поездка по Тюменской области. А здесь не путешествие — кропотливая работа на натуре, под открытым небом — на строительстве дороги, у нефтяных вышек, на прокладке нефте- и газопроводов. Там и бытовые неурядицы, и климат неважный (потом ребята жаловались: комары за месяц одолели), да и не всегда поешь вовремя — ресторанов здесь покуда не успели понастроить.

Однако сомнение наше рассеялось — робость робостью, а все же велико было желание ребят попробовать себя в дальнем краю в настоящем деле. Они получили редакционное задание.

В следующий раз мы встретились через два месяца. В зале редакции на столах, стульях, на подоконниках и просто на полу, были разложены листы, выполненные карандашом, гуашью, темперой. Здесь были линогравюры и работы маслом. Наконец, медные, деревянные и гипсовые скульптуры. Глаза разбегались — вот тебе и мальчики!

С картин и гравюр, да и с простеньких карандашных набросков глядела на нас неласковая тюменская земля. Прозелень болот, закаты в полнеба, свинцовые воды Оби, черная тайга. И человек. В движении, в деле, в преодолении нелегкого. Вот мост обнимает Обь. Вот нефтяные вышки вровень с кедрами. Вот таежная станция «Юность» — сплошь молодые лица; встреча первого поезда; песня. Глаз схватывал композицию за композицией, и трудно было отделаться от ощущения чего-то очень цельного, находящегося в движении, а не просто полутно вырванного из контекста жизни.

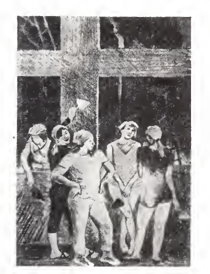
Удивляемся: надо же, столько понавезли! Ребята — куда девалась былая робость! — говорят серьезно:

— Да там, на Тюмени, просто нельзя не рисовать! Мы от зари до зари в работе. И все-таки за переменами уследить трудно. Вроде неделю назад проезжали — не было поселка, и вдруг — на тебе! — стоит новенький, с иголочки. Эти темпы, этот размах невольно зажигают.

Смотрим работы ребят дальше. Сдержанно похваливаем. Они говорят:

— Впечатления еще переварить надо. Считаем сделанное пробой. Первой тюменской пробой.

Ф. АЛЕКСЕЕВ



В. ПАВЛЮЧЕНКОВ. Строительницы.

сты»,— рассказывали нам,—это эрудированный и ироничный народ, и не хотелось появляться перед ними неподготовленными, задавать непродуманные вопросы. Именно поэтому мы решили сначала проехать по железиодорожной магистрали Тюмень — Нижневартовск, посмотреть, как она строится, познакомиться с ветеранами этой важной трассы, чтобы иметь хорошие исходные позиции для последующих встреч с «бамистами». Так оно и получилось: прежде чем приехать иа БАМ, у нас состоялась не одна беседа со строителями, с учеными, специалистами. Мы хорошо подготовились, уяснили для себя логику сибирской стройки.

В скромном, но чрезвычайно уютном местном поезде мы проехали по магистрали Тюмень — Нижневартовск. Делали остановки в различных местах, встречались с чудесными людьми. И самое главное — мы собственными глазами увидели, что такое строительство железнодорожной магистрали, когда люди пробивают себе путь сквозь коварные заболоченные места, казалось бы, непроходимые лесные массивы, «дикую» тайгу, преодолевают бурные реки, бывают свидетелями снежных заносов, бурь и метелей.

И вот, иаконец, мы иа БАМе. «Бамисты», как известно, живут в теплых вагонах с электричеством. В новых городах, которых еще нет на официальных картах СССР, вагоны ставятся в форме лучей, исходящих от площади,— отдельно вагончики для женщин и мужчин.

В каждом новом городке есть одноэтажные деревянные дома с магазинами, где можно купить все: произведения А. С. Пушкина, продукты питания и консервы не только советского производства, но и всех стран — участниц СЭВ, необходимое снаряжение, в том числе обувь, сапоги, одежду, а также совершенно необходимый в здешних местах набор «БАМ». Речь идет о тяжелом стальном «дьяволе». Изготовленный в форме складного ножа, он включает в себя ложку, вилку, нож, штопор и консервный нож. Прошло несколько дней, прежде чем научился обращаться с этим инструментом.

Мы познакомились здесь с бригадой лесорубов. В бригаде 11 мужчин и одна девушка. Бригадир Сергей, самый старший из ребят, ему 25 лет, рассказал, что после службы в пограничных войсках на Дальнем Востоке он вернулся в родной колхоз в


БАМ Строители буквально наступают изыскателям и проектировщикам на пятки.

Харьковской области. Работал комбайнером, был очень доволен жизнью, но когда прозвучал призыв ехать на БАМ, он сразу же подал заявление и в июле 1974 года начал работать бригадиром. Светлана приехала из Киевской области, ей 22 года. Она занимается хозяйством и пользуется в бригаде не меньшим почетом, чем светская дама или кинозвезда. Она заботится о ребятах, а они, в свою очередь, чувствуют особую ответственность за нее и помогают ей по хозяйству

Члены бригады хорошо зарабатывают — как с точки зрения советского человека, так и датчанина,— до 400 рублей в месяц, но решительно заявляют, что работают на БАМе не ради денег.

Поскольку я в общей сложности провел в Советском Союзе одиннадцать лет, то, во-первых, мне знакомы чувства, свойственные истинному гражданину СССР, а во-вторых, мне кажется, я могу разбираться в людях и проводить различие между искренними людьми и людьми, которые «выдавливают» из себя фразы лишь из вежливости.

Мы наблюдали эту бригаду и в работе, старались не мешать ей, не нарушать нормального рабочего ритма, но — извините, наши дорогие советские друзья,— мы все же «уговорили» бригаду попозировать, свалить несколько деревьев для наших фотокорреспондентов. Вообще молодой лес в тайге расчищается бульдозерами. Машины острыми ножами просто вырывают деревья с корнем, но огромные деревья, растущие в лесу, сваливаются с помощью бензопилы. Хотя дерево пилят два человека и создается впечатление, что это им удается легко, чувствуешь за всем этим силу, смелость и опыт.

На стройке БАМ повсюду действует «сухой закон»: ни капли спиртного в течение пяти рабочих дней, но в субботу и воскресенье потребление небольшого количества спиртного разрешается. Разумное решение, которое полностью выполняется: никаких проблем в этой связи не возникает.

Но проблема все-таки возникла в субботу, 8 марта. Я и мои югославский и итальянский коллеги были приглашены в женский вагончик. Девушки купили чудесные пирожные и шампанское и накрыли богатый стол, типичный «русский стол», как мы его называем. Цветов, конечно, нельзя было достать — вот в чем проблема! И тогда мы обернули датский шнапс, итальянский вермут и югославскую сливовицу в сосновые ветки и украсили все это множеством красивых бантов.

Мы провели чудесный вечер, мы разговаривали о БАМе, о тех великих перспективах, которые сокрыты в планомерном использовании неисчерпаемых богатств Сибири не только для нашего, но и для будущих поколений.





Николай
ЧЕРКАШИН

НАД ОКЕАНОМ

«...Видимость отличная. Винты секут солнечные лучи в четыре соломорезки...»

Фото Н. ЕРЖА.



Никогда в жизни я не забирался еще так далеко и высоко от дома — почти в стратосферу невесть какого полушария Земли. Самолет-разведчик морской авиации летит над океаном...

Я лежу в узком проходе между пилотскими креслами на своей шинели и дышу в кислородную маску.

Подо мной полик-эскалатор. Его ребристая, резиновая лента подвозит обитателей головной кабины к нижнему люку в том случае, если кто-то ранен, бездвижен, а машину, подбитую в бою, нужно срочно покинуть. Дальше сработает парашютная автоматика... Лежать тут неуютно уже от одной мысли, что кто-то случайно может нажать пусковую кнопку транспортера. Знаю, что никто не нажмет, а все-таки... Перед самыми глазами — нога правого пилота в черном полуботинке. Она покоится на широченной, как совковая лопата, педали в пол-ладони от моего виска.

Давным-давно, еще школьником, я видел фильм, в котором герой, спасающийся от кого-то на самолете, забирается в одноместную кабину под ноги летчика. Кадр настолько зримо передавал гнетущую тесноту, что любая мысль о сжатом, давящем пространстве и сейчас еще вызывает во мне судорожную попытку высвободиться неведомо из чего. И вот теперь, когда это жутковатое видение осуществляется наяву, я равнодушно пытаюсь уснуть.

Странное оцепенение снизошло на меня в какой-то час полета. Я не посмотрел тогда на часы, потому что посчитал приступ сонливости минутной слабостью, к тому же приступ этот был настолько силен, что поднять руку и отогнуть рукав казалось делом немыслимой трудности. Видимо, это случилось довольно поздно, потому что, когда я уговорил себя при-

лечь на полчаспка (иногда легкая дрема позволяет сбить сопиую одурь), щека заскребла о шнельиое сукно щетиной, отросшей уже в полете.

Думаю, что меня уложили инфразвуки. Те самые не слышнмые, а скорее видимые звукн, которые нспускаются качающимся маятником, волнующнмся морем, ветками, дрожащнми на ветру. Испускают нх и все машнны, если какие-то детали в ннх вибрируют с частотой, меиьшей 15 колебаиий в секунду. В нифразвуковой зоне люди испытывают раздражение, головные боли, недомогаиия, сонливость. Кто-то из учеиых даже установнл, что при 7 герцах пульсацня человеческого кровообращения начинает «затухать», как и всякнй «колебательный контур», попавшнй в противофазное воздействие. Сердце останавливается, точно качели, когда нх толкают совсем в другую сторону. Кто зиает, может, какофония наших турбии сполна насыщена и этнми «нифра». И, зиачит, в сон клонит не только меня... Что-то уж очень неподвнжны оба пилота. И векн у комаидира опущены слишком инзко. И кнстн его как-то безучастно покоятся на черных рукоятях. Ну, конечно же! Это не руки покачивают штурвал, а сам штурвал качает нх! Я привскакиваю. Сна как не бывало.

— Товарищ майор!..

К счастью, крнк тонет в гуле турбин. Майор Харламов, задрав голову, переключает на верхнем приборном щитке тумблеры. Вот он снова опускает руку на штурвал и замнрает в прежней позе. Сон, развеянный вспышкой страха, обрушнвается с новой силой. Но теперь я знаю, как с ним бороться. Надо все время чем-то будоражить себя, подхлестывать любыми эмоциями — страхом, стыдом, восторгом... И скорее восторгом. Он совсем еще свеж, и, чтобы вызвать его, нужно вспомнить лишь самое начало полета, то, что было утром...

А утром был затерянный в болотах аэродром. Березы обступали стоянки, и иад кронамн высились серебристые вертикали с огромиымн, в размах человеческнх рук, звездами. Краснозвездные кили, составлениые один к одному, сливались в сплошную гребенку, конец которой уходил к синеватой кромке леса.

В бабушкиной сказке бросали перед врагом волшебный гребень, и на путн его вырастала непроходнмая чаща. Вот он, этот гребень...

Бой начннается с разведки. Чтобы отыскать затерянные где-то в океане кораблн «противника», определить их мощь, курс, координаты, с бетонки затерянного в болотах аэродрома поднимутся сейчас два самолета. Они стоят расчехленные и почти голубые от отраженного в плоскостях неба. Их мощные крылья закннуты назад, как руки конькобежцев.

Через пять минут экипажн, выстроившиеся под винтами, сменят морские фуражки на шлемофоны, займут свон места в машинах...

В разведку как в разведку, разве что парашюты еще, надувные оранжевые жилеты да термосы с чаем, подкнсленным апельснновым экстрактом.

— По машинам!

Выруливающий перед нами самолет на секунду погаснл хвостом солнце.

Плавно и прочно замкиулся входной люк с зарешеченным иллюмннатором. Легкий звон турбин перерастает в шнпящнй свист, свист — в вой, вой — в рев, рев — в грохот... Изнемогая от собственной мощи, воздушный гнгант вырулнвает на старт, подрагивая на стыках бетонных плнт. Мнг перед разбегом. Самолет мелко трясется, как осаженный конь. Отпустн тормоза, и он стрелой прянет в небо. Грохот турбнн пронзывает тонкий, почти ультразвуковой свист, легкий рывок — и мы катнмся по бетонке. Исчиркаииая, как спичечный коробок, полоса уносится назад, все убыстряясь, убыстряясь и убыстряясь... Пространство, которое обычио так медлеино стелется тебе под ноги, так нехотя проплывает за твоим плечом, слнвается в смазанные струи, обтекает тебя с быстротой горной стремиины. Считанные мгиовения в жизни отпущено человеку испытать столь упоительную скорость, не отрываясь от земли. Резкий толчок, и тряска переходит в плавный лет. Проход между пилотскими креслами становится вдруг очень крутым, будто тропа в гору. Мы возносимся почти что спинами к земле.

Я устроился в самом кончике самолетного носа — в прозрачном обтекателе штурманского отсека. Ноги в кабине на глухом полу, а тело распростерто над застекленной бездной. Радостно и жутковато смотреть вниз, ие видя ннкаких приспособлений для полета. Аэрофлотскому пассажиру неведомо это головокружительное зрелище — наплывающая на тебя Земля. Да, это именио Земля — вспучеиный горизонт открывается не линией, а дугой, зримой выпуклостью планетного шара. Так видят Землю космонавты. Но у меня преимущество: из моего прозрачного колпака она не ограничена инкакими иллюмиииаторами, рамами, рамками. Я вбираю столько пространства, сколько могу захватить глазами. Я вижу рекн целиком — от истоков до устья. Я лечу лицом вперед с неимоверной скоростью. От меня осталнсь лишь глаза. Тело, руки, ногн вошли в плоть самолета, я чувствую его сейчас от крыла до крыла — это из меня выметываются реактивные смерчи, это я принимаю в лоб хлещущий ветер, это я парю на упругих потоках.

Для удобства я подбираю ноги и вдруг замечаю, что стою на коленях перед засиеженными лесами, перед старинными северными городами, где «мостовые скрипят, как половицы», перед невидимыми отсюда людьми. Торжественный восторг подступает к горлу: вот бы где — на этой высоте! — принимать присягу...

Пошла тундра. Она источена речушками, как доска узорами короеда. Порой извивы рек напомниают витки нерастяиутой пружины. Россыпью слюды проблестели болотца. Мы летим в пространстве былых ожесточенных воздушных боев. Облака здесь и по сию пору должны быть усыпаны обломками самолетов.

Штурман передает мие хлеб с сыром, стаканчик сока. Что, так быстро уже обед?

Я не чувствую особого голода, ем машинально: что поделать, если здесь такой порядок. Крошки падают на стекло, я торопливо их подбираю, будто вот-вот раздастся строгий глас: «Не сори на Землю!»

Большая высота может вызывать вовсе не столь радужные ощущения. В качестве иного примера психологи ссылаются на признание американского летчика-испытателя Бриджмэна: «Здесь чистый, незапятнанный мир...» На земле «незаметно никаких следов цивилизации,— это просто обширная рельефная карта с горами из папье-маше и зеркальными озерами и морями... Все так, словно я единственное живое существо, связанное с этой совершенно чужой и необитаемой планетой, лежащей ниже на 24 километра. Несущий меня самолет и я — одинокн в бескрайнем небе».

Нам несколько легче — каждый из нас (кроме блистерного стрелка либо командира огневых установок) может в любой момент увидеть своего напарника, соседа, услышать голос любого.

Видимость отличная. Винты секут солнечные лучи в четыре соломорезки. Влетели в снежный заряд и

снова в солнечную полынью. В колпаке то пасмурно, то ярко. По нему хлещут то дождевые струи, то метельные плети. Автопилот ведет машину точно на север. Но позади меня на крохотном выдвижном столике высчитывает поворотную точку на запад капитан Чернецов. Штурманский отсек обшит зеленой стеганой тканью и напоминает больше землянку, чем поднебесную кабину.

Если отдернуть шторку позади штурмана, увидишь обоих пилотов — командира корабля майора Харламова и капитана Федорова, сидящих в муравейниках цифр и стрелок. Когда машина попадает в болтанку, они управляются со штурвалами сноровисто и властно, как ковбои с бычьими рогами.

Я перебираюсь из штурманского обтекателя в пилотскую кабину. Приборная доска совсем не «доска», а целая стенка. Ее панели расположены не только спереди, но и на потолке и по бортам кабины. Она назойливо лезет в глаза всюду, закрывая большую часть обзора. «Я, я здесь главная,—притягивает она глаза.— Смотри только на меня. Я указую полет, и верь только моим стрелкам». И это так, потому что летчики могут перелететь из конца страны в конец, не видя ничего, кроме шкал и циферблатов.

Приборная доска — стык, на котором машина переходит в человека, и наоборот. Пучки цветных проводов, подведенных к ее приборам, продолжаются зрительными нервами. Однако сам стык перехода довольно узок: на пару глаз приходятся сотни приборов, лампочек и других средств сигнализации. Число их по сравнению с оборудованием самолетов времен минувшей войны выросло раз в 10. Специалисты по инженерной психологии пытаются сейчас «подключить» от самолета к человеку новые информационные каналы, перевести часть зрительных сигналов в звуковые. Таким образом, летчик будет внедрен в машину не только руками и ногами, но и зрением и слухом, не говоря уже о вестибулярном чувстве. Кстати, первые летчики, поднимавшие в воздух этажерки на велосипедных колесах, определяли скорость своих машин на слух — по свисту ветра в тросах-расчалках.

Приборная доска исписана как кавказская скала, но в скучной технической прозе встречаются порой слова поэтические — названия цветов, минералов, животных, условно обозначающие отдельные агрегаты; слова угрожающие — «огонь», «аварийно» и даже в рифму — «маслоопасно».

Здесь не вспыхивает табло «Не курите! Пристегните ремни». Боевая машина языком множества надписей говорит с экипажем на «ты»: «проверь»., «включи»., «нажми»., «сними»...

За бронеспинками пилотских кресел в крохотных купе друг против друга сидят остальные члены экипажа. В самом же конце головного отсека восседает на тронном возвышении, уходя головой в стеклянный колпак блистера, воздушный стрелок-радист прапорщик Музыка. Его сотоварищ по оружию командир огневых установок прапорщик Тарасов замкнут в корме в пирамидальной прозрачной кабинке под самым килем и общается с экипажем лишь по самолетному переговорному устройству. Часами созерцая из поднебесья землю в тесном своем одиночестве, он давно уже должен стать либо философом, либо поэтом. Во всяком случае, Диоген позавидовал бы такой «бочке» для размышлений.

Воздушные стрелки относятся к «летно-подъемному составу». Их «поднимают» в воздух: может быть, поэтому все авиационные лавры достаются чаще тем, кто поднимает.

Несколько лет назад с самолета типа нашего сорвало блистер обстрела верхней полусферы, а стрелок был выброшен по пояс и распростерт на фюзеляже встречным потоком. Держали его только ремни подвесной системы — парашют, на котором он сидел, зацепился за что-то в кабине. Ураган, обтекавший самолет, сорвал с него все, кроме галстука, даже часы с кожаного браслета. Парня попытались втащить за ноги, но безуспешно. Командир бросил машину вниз. Прошли минуты, пока удалось уйти с высоты и снизить скорость настолько, чтобы втащить прапорщика в кабину. К счастью, экипаж не растерялся: покрытую инеем спину стрелка растирали воротниками меховых курток. Только с волос на голове иней никак не сходил. Присмотрелись, а это седина.

В тот же день пострадавшего удалось переправить в Ленинград. У него были обморожены почки. Врачи не ручались за исход операции... А прапорщик выжил, вернулся в родную часть и снова сел под блистер верхней полусферы.

Сейчас он летит с нами, только на ведомом самолете.

Тундра сменяется морской гладью, и зеленая карта на штурманском столике уступает место голубой. Высота такая, что за нами уже тянется шлейф инверсии и в ход пущены кислородные маски. На черноватом прикосмическом небе крылья нашей машины отливают нестерпимым ртутным блеском — стрелок-радист даже повернулся к солнцу затылком. Море с нашей высоты — взморщенный голубой кисель. В тени облаков оно—темно-синяя твердь, рябая, будто свежеобтесанный гранит. А вот и первые льдины. Они белеют толченой скорлупой. И вскоре голубое исчезает под белым — пошла сплошная заснеженная равнина. Ледовитый океан плывет под крылом, растресканный, как бок белого кувшина. Трещины всех стадий разрушения: от волосяных линий первого надлома до рваных промежутков разбитых вдребезги кусков. Изломы иных длинны и извилисты, словно реки: зигзаги других расчерчены по линейке. Контраст синего и белого пронзителен, как на полотнах Рокуэлла Кента.

В смотровом окошечке моего кислородного прибора в такт дыханию расходятся и смыкаются два голубых лепестка. Они похожи на легкие в миниатюре, к которым ведет зеленый тугой кислородный шланг. У нас у всех сейчас общая дыхательная система. Самолет питает нас эликсиром жизни — кислородом, и это уже не просто связь человека с машиной, это почти симбиоз людей и техники. Много позже я нашел в романе Джона Херси такие строки: «На десяти тысячах Мерроу обратился к нам по переговорному устройству и приказал надеть кислородные маски... Здесь мы находились в чужом воздушном океане... и это делало нас зависимыми друг от друга, как никогда раньше. Все десятеро мы были привязаны к самолету и друг к другу этими несущими жизнь шлангами... Ни до этого полета, ни позже я никогда не испытывал подобного чувства общности».

Чувство общности необыкновенное. На земле такого не испытаешь в самой теплой компании.

В полдень прошли черту полярных владений СССР и вышли в нейтральное пространство. Мы летим, пересекая меридианы, часовые пояса, границы северных морей. Штурман едва успевает менять карты, благо, их у него целый портфель. Но вот с экрана навигационного локатора исчезли призрачные очертания берегов. Впереди океан.

Старший лейтенант Макаров уткнулся в резиновый раструб экрана: вспышка лучика, обозначающая «цель», может появиться каждую секунду. Я снова перелезаю в носовое остекление: так вот она какая, Атлантика... Горизонт скрыла дымка, вода сошлась с небом, и мы висим в центре огромного голубого шара.

Океан лазорев и безмятежен: плывут кудрявые райские облачка. Океан пахнет кофе, укропом, смородиновым листом и солеными огурцами — это внештатный начпрод экипажа открыл старую парашютную сумку, куда сложены все бортпайки. Батоны торчат из нее, словно из кошелки. Говяжья тушенка, галеты вприхлебку с кислородом, вишневый сок с лимонными дольками и черный хлеб авиации — шоколад — обед морских летчиков.

...Майор де Сент Экзюпери был тоже воздушным разведчиком. 31 июля 1944 года он поднял свой самолет в небо над Средиземным морем. Как он погиб, никому не известно. Его фронтовые товарищи вообще избегают слова «погиб». Они говорят, что Сент-Экзюпери «не вернулся из полета», и это звучит так, как будто и сейчас еще, спустя 30 лет, со стороны моря может появиться маленький самолет и приземлиться на пыльном корсиканском аэродроме, с которого он ушел, имея горючего на 6 часов. «Не вернулся из полета» оставляет надежду, что самолет Экзюпери занесло куда-нибудь на планету к Маленькому Принцу, и он все еще роется там под раскрытым капотом. Но специалисты сходятся в одном — безоружный самолет Экзюпери был сбит немецкими истребителями.

Драма воздушного разведчика состояла тогда в том, что в отличие от своих коллег в других сферах разведки он ничем не прикрыт: ни огнем товарищей, ни кустом, ни камуфляжем, ни чужой фамилией.

Он на виду в самом неуютном смысле этого слова. Высота не спасает его от чужих глаз (она выдает его шлейфом инверсии), не прячет от лучей радаров. Разве что и самые мощные радиолокаторы имеют пределы обзора. Тогда держись от них в стороне, уповая на чутье и счастье.

Я попал в очень неудачный полет: запас горючего велит уже возвращаться домой, а «цель» все еще не обнаружена. Весьма сомнительно, что ее вообще можно здесь найти. Весь океан затянут облаками. Надежда только на бортовой локатор.

— Ну, что там? — в который раз вопрошает Макарова командир. Не отрываясь от раструба, оператор пожимает плечами.

Внизу — серая хмарь, на экране — зеленая скука. Влетаем в облако. Тусклое пятно солнца проступает как сквозь мутную воду. Глаза трудно сфокусировать на чем-либо: все бесформенно, рыхло, расплывчато.

Ничто не выдает движения. Ни одна стрелка не дрогнет на приборах. Нудное гудящее висение в белесой пустоте. Лишь мерно подрагивает полик под ногами, да ритмично волнуется рокот моторов — «Уррра, урр-рра». И тут я почувствовал, что засыпаю неудержимо, как под наркозом. Это была первая волна сонной одури, и думаю, что накатила она не только на меня одного. Веки отяжелели и падают сами, как защелки почтовых ящиков.

— Пора возвращаться, командир,— предупреждает штурман,— горючего только-только дотянуть...

— Понял. Ну что там, Макаров?

— Пусто...— вздыхает наблюдатель.

Самолет ложится на обратный курс — домой. Не повезло.

Дальше все было похоже на ходьбу по непрочному насту, когда проваливаешься через шаг и теряешь счет этим провалам. До сих пор не могу понять — то ли инфразвуки меня уложили, то ли сказалась нервная перегрузка. Но ведь те, кто управлял машиной, ее турбинами, антеннами, пушками, напряжены были во сто раз больше. Они-то что делали, чтобы не уткнуться лбом в штурвал, в панель, в экран, в прицел?!

В одном из просветов ясного сознания услышал крик радиооператора. Слова расплылись в зыбком гуле, но охотничий азарт, радость и досада этого крика передались током. Я хватаю шлемофон.

— Есть «цель» слева по курсу...— отзывается в мембранах голос Харламова. Пластмассовый стаканчик в его пальцах хрупнул, и кофе плеснулся на резиновый полик.— Фортуна нам строит глазки... И называется это...

Он растягивает фразу почти что по слогам, он ее не слышит — он взвешивает шансы, и с каждой секундой промедления горючего в баках все меньше, а самолет от «цели» все дальше...

— «...По усам текло, а в рот не попало»,— договаривает Харламов.

После тысяч верст, оставленных за хвостом, до цели—сущий пустяк. Но уклоняться от кратчайшей дороги домой с полупустыми баками... Решай, командир, решай, один за всех и за меня тоже...

Я даже не знаю толком, кто он такой, этот Олег Харламов. До полета я видел его мельком — в военном городке шел воскресник, и Харламов попался мне навстречу в потертой кожанке с молодым деревцем на плече. У него тонкий шрам и нежные черты лица. Он не похож на воздушно-морского волка.

Самолет валится на левое крыло. Харламов взял управление на себя. С этой секунды турбины ревут по-особому звонко. Время для нас отсчитывают уже не часы, а топливомеры... Сон, как мокрым полотенцем стерло,— ни в одном глазу!

Я смотрю на моложавого майора в слишком просторном для него черном комбинезоне. Что он творит сейчас — подвиг или безрассудство? Что ведет его рукой — трезвый расчет или удалое «авось»? Это выяснится в конце полета. А пока, что бы там ни было, на моих глазах происходит событие, и какое!

Тяжелая машина снижается резко — барабанные перепонки хрустят, как новенькие рубли. Штурман готовит мощные фотоаппараты, я — кинокамеру.

Чем дальше удаляемся мы от прямой, ведущей на базу, тем чаще попадается на глаза красная рукоять выброса спасательных плотов. Вспомнился совет начальника парашютно-десантной службы перед вылетом: «приводнившись, парашют не бросайте, в резиновой лодке его полотнище, даже мокрое, хорошо защищает от ветра». Я слушал его, улыбаясь: если еще вчера ты втискивался в метровагон на «Маяковской», то в детали завтрашнего плавания по океану на резиновой лодке вникаешь как-то весьма рассеянно. В конце концов Ален Бомбар переплыл океан и без парашютного шелка...

Мы пробиваем облачный слой с такой скоростью, что кажется, за нами в белой пелене должна остаться рваная дырка.

На шкалу топливомера смотреть так же тошно, как на счетчик такси, когда тот отщелкивает несуществующие уже у тебя рубли. Если пролить горючее по всему нашему маршруту, то получится ручеек протяженностью в добрую сибирскую реку. Дотечет ли он до посадочной полосы? Это зависит от того, насколько экономно отрегулируют его поток, насколько точно прочертит его русло штурман, насколько подходящую для турбин по забортной температуре высоту выберет командир. Наш главный союзник — попутный ветер. Я снова переползаю в штурманский отсек,— мягко-складчатый и темно-зеленый, как чрево кита.

Мир перевернут, или это мы летим вверх ногами? Внизу почти небесная голубизна с белыми льдинами-облаками, вверху — фиолетовая бездна. Даже солнце, отраженное водным зеркалом, брезжит снизу.

В стороне над нами тянет четырехбороздый шлейф рейсовый «боинг». Лайнер слегка кренится — похо-

же, что все пассажиры перевалили на один борт, чтобы получше рассмотреть красные звезды над Атлантикой. Для многих из них наши звезды все еще непривычны в этих широтах, хотя самолеты морской авиации, пожалуй, самыми первыми из всех прочих советских крылатых кораблей вынесли их в небо над Мировым океаном. Приоритет этот составляет для флотских авиаторов такую же гордость, как и те исторические факты, что именно морские летчики первыми бомбили Берлин, а Юрий Гагарин носил когда-то в Североморье черные погоны с просветом цвета летной погоды.

Едва повернули на восток, как солнце, за которым мы все время неслись, продлевая себе день, мигом рухнуло к горизонту. Вечер кварцевой голубизны. В закатных лучах киль самолета отливает блеском натруженного, отшлифованного небесами лемеха. Тьма постепенно густеет и вскоре становится такой плотной, что кажется, винты вязнут в ней, и потому турбины жгут горючее вдвойне. Самолет не летит, а пробивается сквозь ночь. Есть в ночной пилотской кабине свой уют: задернуты на стеклах черные шторки, кожаные кресла с пухлыми спинками, зеленым камином полыхает в полумраке приборная доска, красными угольками светятся на ней трехсекторные лампочки... Лишь бы не думать, что на парашютах мы сидим, как на чемоданах, что через час-другой, может статься, разверзнется в полу люк и ворвется в кабину сырой ветер океана... Харламов, молчавший всю дорогу, рассказывает, как лечил однажды в полете больной зуб. Над головой у него фиолетовый фонарик для подсветки фосфоресцирующих шкал. Командир «ломает» сочлененный держатель так, что ультрафиолетовый лучик утыкается ему в щеку. Чем не физиотерапия! Но никто не улыбается.

«Три дня искали мы в тайге капот и крылья...» — вертятся обрывки такой неуместной сейчас песни.

Самолет набирает ночную высоту. В лобовых стеклах роятся звезды. Такое ощущение, будто мы восходим по гигантским невидимым ступеням к некоему надмирному алтарю.

Пилоты сидят недвижно и сурово, как жрецы в фиолетовых от верхнего света чепцах. Лица их запрокинуты, руки выставлены вперед — они возносятся под яростную мессу турбин.

Впереди по курсу—стружка полумесяца. Я не удивлюсь, если она начнет вдруг приближаться и увеличиваться. В такой тьме нетрудно потерять Землю и вылететь в космос.

Вместо крыльев у нас — ребристые лунные дорожки, и от этого они похожи на хилые перепонки летучих мышей. Донесут ли?

От невеселых размышлений отвлекает полумесяц— кратеры на нем видны с нашей высоты простым глазом. А самое поразительное то, что различим весь остальной абрис круга, видно, как серп продолжается в диск. Диск призрачен, словно пятно лампы сквозь черную занавеску. И от того, что серповидная выемка предстает теперь выпуклостью лунного шара, полумесяц окончательно теряет загадочность.

— Командир, справа по борту— комета!

Я перегибаюсь к Федорову. Четыре секунды несется вместе с нами косматый рыжий хвост.

О кометах судачили до тех пор, пока не вспыхнуло полярное сияние. «Вспыхнуло» — не то слово. Оно забрезжило и стало разгораться в полнеба медленно, как свет в театре. Едва яркость достигла предела, зеленовато-радужная лента затрепетала, как флаг на ветру. Вдруг выгнулась интегралом, поползла, зазмеилась, заволновалась. Она была похожа на размазанную молнию. Молнию очень ленивую, одомашненную, которая позволяет смотреть на себя сколь угодно долго, как колхозный олень. Но все-таки это была дикая стихия, и она бесновалась, как хотела: перебегала с одного склона неба на другой, лучилась, расслаивалась, рассеивалась, клубилась, завивалась в спирали. Огненный призрак резвился в ночи беззвучно, и игры его выдавали почти разумное существо: вот он оборотился в мерцающего лебедя, из лебедя возникла, раздувая капюшон, кобра. В этом зловещем облике призрак заметил наш самолет, и кобра метнулась к нему с явным намерением впиться в алюминиевую шею где-нибудь у самой кабины. Никто не смеет безнаказанно вторгаться в обитель призраков и тем более наблюдать их причуды. Но призрак был настроен миролюбиво. Он просто предлагал изнемогающему на пределе сил самолету поиграть в кошки-мышки. Фосфоресцирующая кобра несколько раз подкрадывалась к нам справа и сзади, потом ей это надоело, и призрак, превратившись напоследок в верблюда, исчез вовсе.

Я думаю, что легенды о гремлинах — небесных существах, приносящих несчастье летчикам,— родились именно в Арктике. Не знаю, какие беды сулят они нашим летчикам, но гремлин, только что возмутивший окрестный эфир, снискал от радистов самые искренние проклятия.

Сияние оползает наш самолет радужной сетью, и только по курсу темнеет узкий разрыв.

Радисты всех стран клянут эту диковинную феерию — она возмущает эфир.

Над сушей темнота стала прозрачной: огненные точки земли, неба, приборной доски сливаются воедино — нас вбирает в себя сплошная звездная чаща.

Вот уже плывут под крыльями большие, еще не уснувшие города: мириады огней проблескивают сквозь черный бархат. Они то слагаются в четкие огненные иероглифы, которые даже можно записать на бумаге, то расплываются в искристые туманности. Огоньки мерцают, так как их все время пересекают невидимые нам, но проплывающие под нами трубы, антенны, деревья. Извилины большого города высвечены прихотливейшими зигзагами, пунктирами, загогулинами — такие узоры рождаются под пером человека, скучающего где-нибудь в президиуме нудного собрания.

Его невозможно ни с чем сравнить, вид ночного города из поднебесья. Разметанное кострище? Огненная икра, вымеченная самкой дракона? Лоскутья парчи?

Огненные россыпи городов можно пересыпать из ладони в ладонь, как золотой песок. Но у каждого из них есть свой световой рисунок, ночной герб, по которому опытный штурман всегда отличит Ригу от Таллина, Вологду от Мурманска. Хотя всякую ночь рисунок неприметно меняется: кто-то не зажег настольную лампу, кто-то осветил комнаты, в которых не был год...

Жизнь светоносна, и эти электрические мерцалища выдают ее органично и величественно.

«Мир вашему дому!» — тяжелый крест ночного самолета благословляет безмятежный город.

Попутный циклон нес нас всю обратную дорогу. Лошадиные силы турбин, силы стихийные и человеческие сумели дотянуть самолет к аэродрому даже не запасному, а к своему.

Мы снижаемся с огромной высоты круто и потому сразу глохнем: турбины для нас не ревут, а шелестят, как ветер в кронах. Выпущены шасси. Встречный поток раскручивает колеса, но, по-моему, самолет делает это сам. Он предвкушает землю, ласковую, как бетонная полоса.

Юлий
ИКОННИКОВ

ПОЕЗДКА В ПРОШЛОЕ



Рисунок Е. ЛЕХТА.

Схематическая туристская карта Литвы подвела: оказывается, мы подъехали к городу с противоположной стороны. Тогда по этому проселку шел не наш полк, а немецкие танки. Старая трофейная «антилопа» вздрогнула на очередной плети разрезавшего дорогу корневища и выкатилась за опушку леса.

Я сбросил скорость и посмотрел вправо. Но там, где должен был показаться город с ветхой ветряной мельницей на околице, тянулось поле созревающего хлеба. Я рывком нажал на газ. Сашка боднул теменем приборную доску.

— Зря мне шишку набил. Ты не в ту сторону смотришь, старик. Слева твоя мельница-то.

Действительно, слева, сквозь ветви сада, мелькали два решетчатых серых крыла. Выше, по склону холма, белели пятна домов, из густой зелени вырвалась и воткнулась в безоблачное небо длинная стрела костела. Не узнать его было нельзя.

— Здравствуйте. Это Ремиго́ла? — обратился я к растянувшимся в тени деревьев двум молодым мужчинам, назвав город так, как он значился т о г д а на армейских картах.

— Ла́бас ди́нас,— неторопливо поздоровался один и приподнялся на локтях.— Рами́гала, так будет,— поправил он меня и с любопытством оглядел с ног до головы.— Откуда едете?

— Из Москвы.

— Мо́сква? — живо спросил другой, сбрасывая прикрывавший лицо картуз.— С самой Мо́сквы?

— Да.

— Так то ж далеко! — с сомнением произнес тот, второй.

— Тыща верст,— подтвердил Сашка, опускаясь на траву.— С гаком.

— Так, так...— согласно закивал первый.— В Шяуляй? Паневежис?

— Нет. К вам, в Рамигалу.

— На Рамигалу? — снова спросил второй и с сомнением покачал головой.— Что тут делать? Такой маленький город. Скучно.

— Хотим посмотреть. Воевал здесь когда-то.

— О-о...— многозначительно протянул первый.

Мы попрощались и тронулись дальше. Через несколько минут езды проселок уперся в большак, и мы повернули к городу.

Теперь все стало на место: это был т о т большак и т о т город. И день был тоже т о т — 23 июля — только год был другой.

Полк шел в походной колонне, выбросив вперед и в стороны боевые охранения. Извилистый лесной проселок медленно петлял среди деревьев, повозки погромыхивали на корнях и ухабах, всхрапывали лошади, изредка слышались голоса усталых солдат. От жаркого солнца не спасала даже густая лесная сень. Бойцы все чаще с надеждой посматривали на едущего впереди колонны комбата, дожидаясь команды на привал.

Лес оборвался неожиданно, открыв просторную голую низину. Солнце успело выпарить воду, и только махровые травянистые кочки говорили о том, что в сырое время здесь намокает болото. За низиной светлым шнуром протянулся большак, за большаком сквозь зелень белели постройки. Дома тянулись стройным рядком вдоль дороги, кучками прилеплись на склоне холма. С вершины его нацелился ввысь тонкий, как рапира, шпиль костела. Слева, за дорогой, скрестила решетчатые крылья деревянная мельница.

Комбат предупреждающе поднял руку и спешился. Колонна остановилась. Ломая кусты, на опушку выехал «виллис» командира полка.

— Ремигола.— Подполковник вышел из машины, подошел к комбату.— Городом числится. Как там, застава идет? — спросил он, разминая затекшие ноги.

— Так точно. Пока нет немца, тихо...— начал было комбат и оборвал на слове: тишину прорезала короткая пулеметная очередь.

— Вот тебе и тихо! — с досадой бросил подполковник.— Разворачивай батальон. Начинай. Будет трудно — вторым и третьим батальонами поддержу. Давай, комбат. Твой первый литовский город. Бери!

— Разведать бы надо, товарищ гвардии подполковник,— неуверенно начал комбат.

— Разворачивай, вот и разведаешь,— оборвал командир полка.— Давай не мешкай.

— Есть! — козырнул командир батальона.— Штаб и командиров рот — ко мне!..

К комбату мы подошли вместе с Иваном Кузнецовым. Мы всегда были вместе вот уже целую фронтовую вечность, с одного памятного дня под Керчью, когда он еще не был замкомбата, а я — комсоргом батальона.

Спустя несколько минут на опушке звонко звучали команды Ивана, роты потянулись из леса, вытягиваясь в тонкую цепь. Смолкли разговоры — только топот тяжелых ботинок, бряцание металла да настороженные, напряженные лица пробегающих мимо солдат.

Сотни, может быть, тысячи раз за военные годы видел я эти лица перед решающей минутой, когда человек один на один выходит на встречу со смертью. Не помнить о ней удается не всем, но чувство долга уводит бойца от тревожных мыслей о собственной судьбе. И чем напряженней бой, чем сложней обстановка, тем меньше времени для раздумий о смерти. Вероятно, в этом одна из великих психологических мудростей войны.

Иное дело, когда, как сейчас, стоит тишина, но только что впереди прострекотал пулемет, и ты не видишь и больше не слышишь его, но знаешь, что там притаился и ждет твоего появления враг. И ожидание встречи с судьбой, быть может, последней встречи, заставляет тревожно сжиматься сердце. Даже у очень бывалых людей.

А у нас новички. Восемнадцатилетними приволжскими и сибирскими ребятами пополнился очень поредевший после севастопольских боев полк. И это их первый бой. Поэтому особенно сосредоточенны и напряженны их лица, так четко, как на учениях, принимают боевой порядок подразделения. И, конечно же, поэтому, нарушая устав, идут в солдатской цепи офицеры. Только майор Иван Александрович Кузнецов оттянулся с группой связных метров на тридцать назад, чтобы виднее был порядок полукилометровой цепи.

Медлен и осторожен солдатский шаг, ноги ступают, словно щупая тревожащую тишину, пальцы побелели от усилия на прикладах, тела напряженно согнуты, готовы в любую секунду приникнуть к земле.

Цепь так и делает, когда с окраины города доносится треск немецких пулеметов. Пули давно просвистели, но неопытное солдатское тело не отреагировало на непривычный свист, и лишь донесшийся с запозданием звук выстрелов заставляет цепь дружно споткнуться и лечь. Лишь несколько «стариков» продолжают идти во весь рост, да Кузнецов, засунув пистолет под мышку и остановившись, раскуривает папиросу. Небрежно похлопывая прутиком по голенищу нового брезентового сапога, он догоняет цепь, демонстративно перешагивает через уткнувшегося в землю солдата и кричит залегшим что-то озорное и немного обидное. Подковырка действует. Солдаты поднимаются один за другим, идут торопливо и нервно. Немецкие пулеметчики вносят поправку в прицел. Пули щелкают по кочкам, наполненным болью голосом кричит первый раненый. Цепь залегает снова. Страшно!

Это понятно. Через это надо пройти, чтобы потом, зажав нервы в кулак, делая вид, что тебе все равно, уметь подниматься и идти навстречу смерти. Это придет. Но только потом, попозже, когда не один раз заглянешь смерти в глаза. А пока просто по-человечески страшно.

— Огонь! — громко кричит Кузнецов, обернувшись к залегшей цепи.

Где-то хлопает выстрел, за ним еще, длинной, неэкономной очередью трещит автомат, с опушки звонко бубинт «максимка», протискивая зеленые иточки трасс между лежащими взводами. И пошло, пошло... Батальон оживает огнем. В грохоте стрельбы тонет посвист вражеских пуль. Бьющая в плечо винтовка, подрагивающий в руках автомат, заставляют забыть, что ты хрупкое смертное существо, к которому тянутся десятки пуль. Вдруг ощущаешь: ты воин, ты сила.

Красная ракета описывает пологую дугу, указывая цель артиллеристам. Но немцы решили не мериться силами — из-за крайних домов городка на большак выруливают два грузовика и бронетранспортер и, набирая скорость, улепетывают в сторону Трускова. Цепь провожает их торопливым огнем. Кто-то громко кричит «ура», солдаты дружно подхватывают и устремляются вперед. Стрельба стихает. Мы пробегаем мимо растопырившего крылья ветряка и врываемся на улицу. Город взят.

Я останавливаю машину напротив мельницы и выхожу на большак. Как и тогда, он покрыт толстым слоем светлой, почти белой пыли. Она вырывается из-под подошв плотными облачками, мгновенно покрывает порошей обувь. Я знаю, она въестся в кожу и при мытье будет скользить и мылиться. Почему-то хочется потрогать ее, и я набираю пригоршню. Пыль струится ручейками между пальцев, мучным налетом оседает на ворсинках одежды. Слежу за спадающими струйками и прихожу в себя от Сашкиных слов:

— А на зуб пробовать не будешь, старик?

Сашка — ехидна и скептик. Знаю — это от юности. И то, что происходит сейчас со мной, ему невдомек. Это я чувствую себя почти его ровесником. Впервые на этой дороге я стоял двадцатилетним.

— Ну, что ты ее разглядываешь? Нормальная грязная пыль. На брюки лучше посмотри.

— Эта нормальная грязная пыль заклинила мне затвор автомата. И если бы не одна случайность, я не имел бы счастья объяснять это моему умному сыну.

— Извини, я не хотел...— Сашкина рука ложится мне на плечо.

— Ладно. Пойдем к мельнице. Там должна быть

могила. Ребята и Кузнецов. Я рассказывал тебе как-то.

Могилы не было. Мы тщательно обшарили всю площадку. Ни холма, ни впадины. Только сочная трава под ногами. Я помню: предварительно сняв толстый слой дерна, солдаты тщательно уложили его на могильном пригорке. Наверное, это та же трава. А где же пригорок?

— Посмотри, как пропороло,— оторвал меня от раздумий Сашка, показывая на глубокую борозду и пробоину в деревянной обшивке мельницы.

— Разве только эта одна? Посмотри внимательней.

Время и дожди сделали свое, но, если присмотреться, на досках и сейчас видно множество серых точек от пуль и осколков.

— Наверное, наблюдатель сидел?

— Нет. Сюда наперерез их танкам вылетела полковая батарея и стреляла почти в упор с открытых позиций. Танки были вон там, почти рядом.

— Ну, и остановили? — спрашивает Сашка.— Артиллеристам очень досталось?

— В общем, остановили. Танки струсили. А досталось... на мельнице и сейчас написано. Сам видишь... Поедем на ту высотку, оттуда посмотрим. Я что-то тут не все узнаю: или изменилось порядком, или забывать стал уже. С высотки виднее.

Из городка нас выкурили «фоккеры». Две партии истребителей, сменяя друг друга, больше часа штурмовали улицы, обстреливая из пушек и засыпая мелкими противопехотными бомбами. С трудом выйдя из-под обстрела, полк занял оборону по полю. Лес отступал от города, охватывая широким полукружием подсохшую низину и тянущиеся за ней хлебные поля. Большак разрезал открытую местность пополам, тянулся у края продолговатой высотки и исчезал в лесу. От разбросанных по округе усадеб в дорогу вливались ручейки полевых проселков, кромсая поля на небольшие клочки.

Батальон занял высотку правее большака, слева расположился второй батальон гвардии капитана Маркова.

Самолеты больше не возвращались, удравшие немцы не напоминали о себе. Жарко светило солнце, в полном безветрии застыли колосья созревающего хлеба, защебетали вспугнутые недавней бомбежкой птахи. Войны как не бывало.

Штаб батальона расположился метрах в двухстах от высоты в домике землемера, неподалеку от опушки леса. Из леса под прямым углом к большаку тянулся проселок, отрезая от усадьбы два громадных амбара. К ним подошли кухни, и тотчас от высоты потянулись солдаты с котелками в руках. Вскоре у кухонь собралась толпа.

— Только самолетов не хватает,— кивнул на амбары вышедший на веранду Кузнецов.— Сходи-ка отправь на высотку всех, пусть там ложками работают. Не нравится мне тут... Послушай!

Откуда-то издалека доносилась приглушенная стрельба, частыми очередями бил ручной пулемет. Потом все разом стихло.

— Наверное, разведка наша шастает,— вслух подумал Иван.— Давай шагай. И проверь, как окапываются. Я сейчас тоже туда! — крикнул он вслед.— Перекушу только.

Я вышел на крыльцо и вдруг услышал рокот двигателей. «Легки на помине»,— мелькнула мысль и тут же исчезла: гул был не самолетный.

Это были танки. Я увидел их выползающими по проселку из леса: один, два, три... «Ну вот, подмога пришла, теперь спокойней будет»,— подумал я и тут же насторожился: танки выглядели как-то не так. Пока я пытался понять, что же там не так, головная машина развернулась, сползая с проселка, и подставила солнцу линялый бок: на башне четко обозначился черный в белых обводах крест... Танки вышли в тыл батальону!

Дальше события развивались с кинематографической быстротой. Наверное, нам бы пришлось совсем круто, если бы вспыхнувшие от первых снарядов амбары не прикрывали солдат. Дым пожарища растекался плотным облаком, окончательно скрывая их от прицельного огня. Дым же позволил нам с Иваном благополучно проползти и по мелиоративным канавкам вывести людей к высоте. Когда, направив к спасительной канавке последнего солдата, мы с Кузнецовым добрались до высотки, огонь в тылу уже затихал.

Всего три снаряда оставалось у батальонных противотанкистов старшего лейтенанта Вити Семенченко, но ни один из них не пропал даром: один танк пылал черным, чадящим костром, второй неуклюже накренился в придорожную канаву, расстелив блестящую гусеницу, третий медленно пятился в лес, посылая в белый свет снаряд за снарядом из заклиненной, потерявшей управление пушки. В тылу затихало, зато не на шутку разгремелось с фронта. Немцы нанесли удар с двух направлений.

Тревожная картина развернулась перед глазами, когда мы взобрались на высоту: противник ворвался в боевые порядки левого соседа. Около двух десятков танков утюжат не успевших как следует окопаться стрелков. Машины медленно маневрируют, вертятся на месте, грохочут очередями пулеметов, выстрелами орудий. Хлебное поле иссечено сдвоенными нитями гусеничных следов, чернеет пятнами вывернутой земли. Слышатся глухие хлопки гранат, несколько танков горят, расстилая по полю полосы черного дыма: батальон истекает кровью, но не покинул рубеж. Это понятно и по тому, как сдержанно перебегает под огнем отставшая от танков немецкая пехота. А у нас всего в нескольких сотнях метров оттуда стоит сравнительная тишина. Только издалека неточно строчат немецкие пулеметы, да гулко гремят вдоль цепи наши «максимы», помогая попавшему в беду соседу.

Замысел немцев прост: смять оборону на ровном, удобном для танков месте и обойти высоту. Три вышедшие из леса машины должны были посеять панику и сомкнуть огневые клещи с другой стороны. Огонь орудия Семенченко разрушил немудрый расчет, но только частично. Немецкая пехота вот-вот пройдет через рубеж соседа, и тогда всем нам придется туго.

— Пищиков,— подзывает Кузнецов командира роты,— взвод, три бронебойки и три пулемета ко мне! Патронов и гранат побольше. Только быстро! Передай комбату и начштаба Жиркову: прикрою Маркова с тыла.— Иван машет мне рукой.— Пойдем. Скорей! — И кричит солдатам: — За мной, гвардия!

Бегом скатываемся по склону. Сзади цепочкой спешат солдаты, тарахтят колесами станкачи. У подножия мы попадаем в зону огня и ползем по ржи. Нас пока не видят, но все равно пули свистят вокруг, иногда чиркают совсем рядом. Тогда мы вжимаемся в землю, и становится слышно, как с легким шелестом падают срубленные колосья хлеба. Ползти тяжело, сердце бешено бьется, в висках стучит вскипающая от напряжения кровь. Я ползу за Иваном, скользя лицом по примятым колосьям, и, когда он неожиданно останавливается, натыкаюсь на его ноги.

— Тише! — громко шипит он и слегка дергает ногой.— Смотри! Осторожно, черт!..

Заползаю справа и ложусь рядом с ним. Сквозь редкие стебли за придорожной канавой белеет пыль большака. Поле кончилось. Там, за дорогой, батальон Маркова, и там по-прежнему гремит бой. Иван подается вперед и тут же отпрядывает обратно:

— Танки!

Слышу, как противно холодеет сердце, но делаю усилие и потихоньку раздвигаю стебли: четыре танка этажеркой стоят на уклоне дороги, выставив друг над другом головастые стволы орудий.

— Проскочим? — спрашивает Иван и тут же отвечает сам: — Проскочим! Где наша ни пропадала. Давай по тихой командира взвода сюда. Договориться надо...

Широко, сколько хватает глаз, раскинулось поле созревающего хлеба. Оно тянется от леса до леса, оттеснило болото, до предела сжало разбросанные по нему кустистые пятачки хуторов, подступило почти к самому городу.

Мы с Сашкой стоим на вершине высотки, поставив «антилопу» на обочине проселка. Дорога тянется по взлобку высоты, там, где когда-то были наши окопы. Сейчас от них не осталось и следа. Отсюда отлично видно всю местность вокруг. Я помню ее всю до мельчайших деталей. Ее нельзя не узнать и сейчас, хотя многое очень изменилось. Будто никогда и не было дома землемера. Сохранившиеся канавки осушения помогают точно определить место злосчастных амбаров — сейчас там оазис ветвистых кустов. Впереди, за большаком, там, откуда атаковали Маркова немецкие танки, протянулась улица нового сельского поселка. Наверное, в нем живут теперь колхозники исчезнувших из этой округи одиночных усадеб. Но между поселком и городом несколько хуторов стоят по-прежнему. Среди них «наш». Я всматриваюсь в него, прослеживаю взглядом тонкую нить идущей к нему дороги, пытаюсь отсюда разглядеть памятный въезд на большак.

— Что же ты замолчал? Что было дальше? — дергает за рукав Сашка.

— Дальше?.. Поедем туда. От города я не мог понять, какая усадьба нужна. Теперь знаю. Там съезд на проселок перекрывает канаву у большака. Под насыпью стальная труба с погнутым краем.

По дорогам от высотки до съезда к усадьбе километр с лишком. Пыль клубами вырывается из-под колес, лезет в окна и щели кабины, вытягивается позади длинным, медленно оседающим шлейфом. Едем молча, каждый думает что-то свое.

Съезд, как и прежде, посыпан мелкой щебенкой. Канава заросла серой от пыли травой. Раздвигаю поросль рукой и натыкаюсь на погнутый край трубы.

— Здесь. Видишь?

— Вижу. Что было дальше?

— Танки стояли вон там, у изгиба дороги. Сколько здесь, метров сто двадцать? А вот здесь...— отмериваю несколько шагов и останавливаюсь на середине дороги,— вот здесь, на этих метрах погиб Иван...

Жесткий комок встал в горле, не дает вымолвить слово. Хочется проглотить его, вздохнуть всей грудью, но он прочно перехватил дыхание, противно катается где-то внутри, спазмами сжимает горло. Не знаю, говорю я или молчу — перед глазами с непередаваемой четкостью проносятся картины прошлого. Они виделись десятки, может быть, сотни раз с той поры, и всегда все казалось правильным. И только сейчас, через десятилетия, вдруг становится ясно: это безумие — иначе не назовешь нашу попытку провести целый взвод вплотную с прицелившимися в дорогу танками. Но тогда все казалось иначе. Мы были очень молоды, и, живя в постоянном общении со смертью, не допускали и мысли о гибели. Даже если она стояла в ста метрах от нас.

По уговору взвод должен был идти вслед за нами. Мы с Иваном расползлись на несколько метров друг от друга и по его сигналу бросились вперед. Не было выстрела, не было свиста снаряда, был только глухой сильный взрыв... Я и сейчас слышу его.

Видимо, я все же вспоминаю вслух, потому что вдруг слышу голос Сашки:

— А потом?

— Потом был еще разрыв. С той стороны съезда. Только я уже лежал за насыпью. Потом был еще один. Может быть, был и четвертый, не знаю. Мне хватило третьего.

— Ранило?

— Нет, контузило. Ненадолго потерял сознание. А Иван погиб от первого снаряда. Только это выяснилось потом... Ужасно! Нелепо!.. Не верится до сих пор... Мы столько прошли вместе. Были почти полгода под Керчью, прошли весь Крым, брали Севастополь. И до этого он воевал с начала войны. Через сто смертей прошел! Ни до, ни позже я не видел человека, так умеющего владеть собой, так легко, свободно, даже весело действовавшего в любых, порой очень сложных фронтовых ситуациях. И вот... Проклятое место, проклятый танк!..

Сашка слушал молча, поглядывая на меня с затаенной тревогой. Я поймал его взгляд и вдруг понял, что нахожусь на грани нервного срыва, казалось, вот-вот оборвется внутри последняя тонкая ниточка выдержки. Но остановиться было уже нельзя, я должен был сказать то, что носил в себе долгие годы.

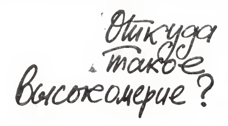
— Понимаешь, до сих пор не знаю, кто из нас бежал впереди: Иван или я. Если танкист ждал, держа в прицеле дорогу, а вырвался вперед Иван, значит, приняв снаряд на себя, он дал мне возможность перебежать. Спас меня. Понимаешь? А может быть, я бежал впереди, но танкист замешкался. Тогда именно я привлек его внимание, а выстрелить он успел уже в Ивана, и погиб Иван из-за меня. У меня все годы такое чувство, будто я виноват в том, что остался жив. Зачем мы разошлись в стороны?! Бежали бы вместе, может, и остались бы оба живы...

— От вас же ничего не зависело,— сказал Сашка.

Вечером, дождавшись, когда Сашка ровно и спокойно задышал во сне, я выбрался из машины и по освещенному луной проселку побрел к высоте. Осторожно раздвигая хлебные стебли, я спустился по склону и вышел низиной к дорожному съезду. Потом долго стоял и курил у выступающей из-под насыпи стальной трубы с погнутым краем... Послышались солдатские голоса и стук колес—по дороге в походной колонне шел вызванный для подкрепления полк. Я стоял на обочине и держал завернутые в окровавленную плащ-палатку останки друга. Подошел офицер, что-то спросил и, не дождавшись ответа, снял пилотку. Взвод проходил за взводом, смолкали разговоры, четче печатался солдатский шаг. Полк прошел...

Залитая лунным светом белая лента дороги тянулась в прошлое. По сторонам ее печально шелестели тяжелые колосья серебристого хлеба. Невдалеке мирно спал город.

●





Дорогая редакция!

Пишут тебе учащиеся киевского профессионально-технического училища.

Мы бывшие одноклассники. Учились в школе с производственным обучением. Нельзя сказать, чтобы до девятого класса мы мечтали о профессии слесаря. Один из нас хотел стать летчиком. Остальные тогда еще не выбрали будущей специальности. Но в девятом классе к нам пришел новый молодой учитель труда. Он сумел заинтересовать и увлечь учеников своими рассказами о заводской жизни, о социалистическом соревновании между бригадами. Он водил нас на экскурсии на заводы. Благодаря ему мы решили после окончания школы идти в профессионально-техническое училище.

Поступить было нелегко. Однако мы добились своей цели. Но вот что удивительно: как резко изменилось отношение к нам тех ребят, которые поступили в институты! Ирина подруга Люда, которая поступила в медицинский институт (она будет стоматологом), теперь абсолютно не поддерживает отношений с Ирой. А ведь раньше они всегда были вместе. Другой пример. У Вовы Кузьянца было два ближайших друга: Витя и Сергей. Недавно у Вити был день рождения, на который Сережа был приглашен, а Вова — нет. Оказывается, это произошло из-за того, что Сережа и Витя теперь студенты театрального института, а Вова — учащийся профессионально-технического училища, и ему, видите ли, было бы неинтересно проводить время с будущими артистами. А ведь у самого Вити отец — заводской рабочий.

Можно привести еще массу примеров, которые показывают, с каким высокомерием некоторые бывшие школьники, став студентами вузов, относятся к людям труда, считая их профессию ниже своей.

Неужели мы стали хуже от того, что учимся не в вузе, а обучаемся всем тонкостям слесарного дела?! Неужели у нас не найдется общих тем для разговоров со студентами, нашими бывшими друзьями? Ведь мы смотрим те же фильмы, читаем те же книги, что и они.

Так несправедливо относятся к нам не только старые друзья. Когда знакомишься с новым человеком, он проявляет к тебе интерес до тех пор, пока не узнает, где ты учишься.

Скажите, неужели так и должно быть? Ведь наша профессия очень интересна, сложна, приносит обществу огромную пользу.

С комсомольским приветом —
Ира ПЕТРОВА, Вова КУЗЬЯНЦ, Вова ЛЕЙБОВИЧ, Леня АЛЬШАНСКИЙ, Саша ОВЧИННИКОВ.

г. Киев.

✪

Здравствуй, дорогая редакция!

Пишу вам впервые. Я учусь в ГПТУ, здесь же, в своем городе. А мои родители против того, что я учусь в этом училище. И я не знаю, почему. Может, им стыдно, что их дочь, окончив десять классов, пойдет на стройку и будет ходить в грязной рабочей спецовке? Каждый день они ищут мне работу — чистую, такую, к примеру, как воспитательница детского сада. А мама у меня сама строитель.

Не правда ли, это даже смешно? Она мне говорит: «Ты пожалеешь, ты будешь плакать». А мне моя будущая профессия нравится! Буду я штукатуром-маляром. Ведь сколько сейчас юношей и девушек работают на молодежных стройках! После окончания училища и я хочу уехать на комсомольскую стройку.

Дорогая редакция, очень прошу, посоветуйте, как уговорить моих родителей.

С уважением

Майя А.

г. Таш-Кумыр.

✪

Два письма о выборе профессии, о стремлении пораньше встать на ноги, начать работать. И о том обывательском высокомерном отношении, с которым выбор рабочей специальности до сих пор встречается и в некоторых семьях и среди товарищей и знакомых будущих молодых рабочих. Такое отношение сложилось в дореволюционном прошлом. Почему же оно бытует у нас до сих пор? Почему будущего квалифицированного специалиста, производственника могут считать ниже себя будущий стоматолог или артист? В общем-то только из-за отсутствия подлинной культуры и истинной интеллигентности.

Публикуя эти письма, редакция хотела бы получить ответы от рабочих, мастеров своего дела, об их радостях и трудностях, о том, почему они выбрали свою профессию.

Ждем ваших писем!



Владимир
МАСЛАЧЕНКО

Я ОСТАЮСЬ В ВОРОТАХ

Заметки телекомментатора

Фото А. ХОМИЧА.



До тридцати трех лет я стоял в воротах московского «Спартака» и считаю, что кончил рано. Непростительно рано. Мне было еще что сказать в воротах. Но сейчас, ведя футбольный репортаж, я по-прежнему там, в воротах. Больше того, я поочередно «стою» сейчас то в одних, то в других воротах.

Вправе ли телекомментатор видеть развитие игровых эпизодов прежде всего глазами вратаря? Даже когда мы объявляем состав, то начинаем с вратаря. Номер первый — всегда вратарь. Я, конечно, должен рассказывать и рассказываю, как действует тот конкретный игрок, который владеет мячом. Но в то же время я уже «ставлю» себя в ворота, которым угрожает опасность. И, читая из ворот готовящуюся комбинацию, уже примерно знаю, что сейчас будет. Я даже мысленно командую защитникам: этого игрока закрой, а этого — возьми.

Работа комментатора требует предвидения. Но и вратарь обязан предвидеть комбинацию. И я спокоен — мне есть что сказать за комментаторским пультом, пока я остаюсь в воротах.

Современная техника позволяет телезрителю видеть матч даже лучше, чем человеку, сидящему на трибуне. И я стремлюсь не пересказывать то, что видит каждый, а действительно комментировать происходящее — предлагать свою точку зрения. Думаю, что футбольная школа, которую я прошел, дает мне право на профессиональный комментарий эпизода.

Приведу два примера подобного комментария, вспомнив финал европейского Кубка кубков в Базеле между киевским «Динамо» и «Ференцварошем». Как был забит первый гол? Онищенко, получив мяч, удивительно тонко оценил ситуацию. Рядом, справа, находился Блохин, и венгерские защитники ожидали, что сейчас ему последует передача и будет разыграна «стенка»: Онищенко — Блохин — Онищенко. Ожидая этого варианта, который бы мог привести к тому, что Онищенко выскочит один на один с вратарем, венгры сосредоточили все внимание на Блохине, оставив против Онищенко лишь одного игрока, который сначала дал ему принять мяч, а затем опрометчиво атаковал его.

Классный защитник так себя не ведет — уж если дал нападающему принять мяч, так не спеши его атаковать, а посмотри, что он будет делать дальше. Онищенко «качнул» атакующего защитника, ушел влево и неотразимо ударил в дальний угол. Зрители, следя за Онищенко, могли забыть о Блохине. И я счел нужным объяснить, почему против Онищенко остался лишь один защитник.

Был в этом матче другой эпизод, который позволил мне сказать: «Вот вам кусочек тотального футбола». Наш хавбек подключился в атаку, защитник пошел вперед ему на помощь, а в обороне остался нападающий. Венгерский вратарь взял мяч, но комбинация была разыграна киевлянами на хорошей скорости, с максимальной затратой сил всех футболистов, а когда она закончилась, каждый занял свои места. Разве не так играли на чемпионате мира команды ФРГ и Голландии?

Но бывают случаи, когда умышленно жертвуешь комментарием эпизода, чтобы дать резюме. Я дважды так поступал, ведя репортаж из Голландии о полуфинальном матче киевлян с «Эйндховеном» — полное название этой команды выглядит так: ПСВ (г. Эйндховен).

В НОМЕРЕ 8 1975

ПРОЗА

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

«К доске пойдут отвечать...» — говорила француженка, и в классе наступала мертвая тишина. «Лидия Васильевна! — поднимал руку Паша.— У меня вопрос!»

И медленно, будто показывая фокус, выдвигал в проход первую из двух левых ног.

«Перестань, Новиков! Перестань!» — сердилась француженка, с трудом удерживаясь от

